

Мюриель
Барбери

ЧАС ОТКРОВЕНИЯ



От автора романа
«Элегантность ежика»!
Впервые на русском!

Час откровения

Мюриель Барбери

Аннотация
Мюриель Барбери. Час откровения
Умирать
До
После
Долго
Вовне
Родиться

Аннотация

Французская писательница и философ Мюриель Барбери стала звездой после публикации ее второго романа «Элегантность ежика» (2006) – только во Франции он разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров, принес автору с десяток престижных литературных наград, был переведен на сорок с лишним языков, и с тех пор каждая книга Барбери лишь подтверждает ее статус королевы бестселлера.

Ее новый роман «Час откровения» и предыдущий, «Только роза», складываются в объемную картину, разомкнутую историю, чьи герои проживают свои безусловно взаимосвязанные жизни, не встречаясь ни во времени, ни в пространстве. В романе «Только роза» сорокалетняя женщина приезжала в Японию, чтобы обрести корни, потерянные с рождения, и понять незнакомого покойного отца, на протяжении всего романа остававшегося за кадром; в кадре была только Роза. В «Часе откровения» за кадром остается она, а в кадре – главный герой, отец Розы, коллекционер и

торговец современным японским искусством Хару Уэно, которого неодолимая любовь к красоте еще в молодости наделила безошибочно точным взглядом на прекрасное и погнала прочь из глубинки в Киото. «Час откровения» – поэтичная, проникновенная и глубокая история Хару, его друзей (художников по профессии или в глубине души), его любви к дочери – любви на расстоянии, деликатной и неотступной, – и его постепенного неотвратимого самопознания. В декорациях Японии, где автор прожила несколько лет, – страны непостижимой и бесконечно притягательной – разворачивается тихая и пронзительная драма: в ней красота таится в наималейших мелочах, меланхолия неотделима от радости жизни, а смерть и рождение суть одно и то же.

Впервые на русском!

Мюриель Барбери
Час откровения

Muriel Barbery
UNE HEURE DE FERVEUR
Copyright © Actes Sud — 2022
Published by arrangement with SAS Lester Literary Agency & Associates
© Р. К. Генкина, перевод, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®

* * *

Деликатный роман, полный любви… Барбери написала книгу редкого изящества.

Le Quotidien du Luxembourg

«Только роза» и «Час откровения» – сумрачный, поэтичный и тонкий диптих.

Le Journal du Dimanche

Весомый и нежный роман.

Le Devoir

Будь фразы Мюриель Барбери камнями, ее книги были бы соборами. Голос ее – песня, возносящаяся к небесам молитва. Она говорит на языке звезд.

Le Figaro litéraire

Книга невероятной красоты, напоенная поэзией и меланхолией.

Les livres ont la parole

Тонкий импрессионистский роман.

Mode et travaux

Очень тонкий портрет Японии, где умелая алхимия сочетает яркую современность с неистощимыми традициями. «Час откровения» полон поэтической носталгии, лишен пафоса и трогает до глубины души.

Le Télégramme

Погружение в империю знаков. Дивная повесть об японских законах красоты, написанная с бесконечным вниманием к деталям. Дань наблюдательности и терпению. Искристый, возвышенный роман, одновременно материальный и философский, где дух веет повсюду и во всем многообразии форм. Инициация, странствие, на которое не хватит целой жизни. Созерцательная одиссея, притча о разнообразии любви, желания и отсутствия, а еще – о наших темных сторонах и слепых зонах.

Radio France

Замечательная книга – то ли величественный храм, то ли проникновенное хайку.

Le Monde des livres

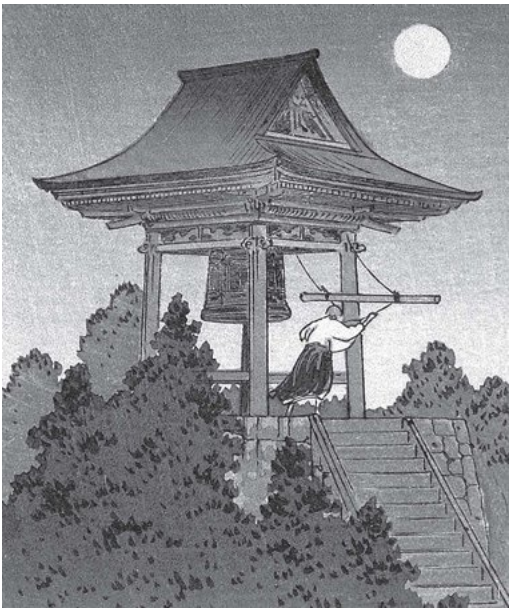
Этот текст разворачивается, как японская каллиграфия: неотвратимая уместность каждого штриха превращает слова в живые картины, не сбиваясь с поэтического дыхания.

Sud Ouest

***

Посвящается Шевалье
И тем, кто живет в Киото, —
Акио, Мэгуми, Сайоко и Кейсукэ, Манабу,
Сигэнори, Томоо, Кадзуо, Томоко
и Эрику-Марии

Умирать





В час смерти Хару Уэно смотрел на цветок и думал: «Все держится на цветке». В действительности жизнь Хару держалась на трех нитях, и цветок был лишь последней из них. Перед ним простирался небольшой храмовый сад — миниатюрный пейзаж, усеянный символами. Долгие века духовных исканий, завершившиеся столь точной композицией, — это приводило его в восторг. «Какие усилия сосредоточились на поиске смысла и в конечном счете на чистой форме», — подумал он.

Ибо Хару Уэно был из тех, кто взыскует формы.

Он знал, что вскоре будет мертв, и говорил себе: «Наконец-то я воссоединюсь с предметами». Вдали гонг Хонэн-ина[1] ударил четыре раза, и от насыщенности собственного присутствия в мире у Хару Уэно закружилась голова. Прямо перед ним — сад, замкнутый в побеленных известью стенах, крытых серой черепицей. В саду — три камня, сосна, покрытое песком пространство, фонарь, мох. Вдали — восточные горы. Сам храм назывался Синнё-до. На протяжении почти пяти десятилетий каждую неделю Хару Уэно проделывал один и тот же путь — шел к главному храму

[1] Примечания: 1

Хонэн-ин — буддийский храм в окрестностях Киото. — *Здесь и далее примеч. перев.*

на холме, спускался через кладбище на склоне и возвращался ко входу в комплекс, которому пожертвовал немало денег.

Ибо Хару Уэно был очень богат.

Он вырос, наблюдая, как снег падает и тает на камнях горного потока. На одном берегу прилепился маленький родительский дом, на другом тянулся лес из высоких сосен, вросших в лед. Долгое время он думал, что его привлекает материя — скалы, вода, листва и дерево. Поняв, что всегда тяготел к формам, которые принимает эта материя, он стал покупать и продавать произведения искусства.

Искусство: одна из трех нитей его жизни.

Конечно, торговцем он стал не в одночасье — потребовалось время, чтобы перебраться в большой город и встретить определенного человека. В двадцать лет, отвернувшись от гор и от отцовской торговли саке, он покинул Такаяму и отправился в Киото. У него не было ни денег, ни связей, зато он обладал редким капиталом: пусть он не знал ничего о мире, зато знал, кто он такой. Был месяц май, и, сидя на деревянном полу, он провидел будущее с ясностью, близкой к той, какую дает саке. До него доносился шум храмового дзен-буддийского комплекса, в кото-

ром его двоюродный брат-монах договорился для него о комнате. Сила виде́ния наложилась на необъятность времени, и у Хару закружилась голова. Это видение не сообщало ни где, ни когда, ни как. Оно гласило: «Жизнь, посвященная искусству». И еще: «У меня получится». Комната выходила в крошечный тенистый садик. Солнце золотило верхушки высокого серого бамбука. Среди кустиков хосты и карликового папоротника рос водяной ирис. Один цветок, более высокий и хрупкий, чем остальные, покачивался на ветру. Где-то прозвонил колокол. Время растеклось, и Хару Уэно стал этим цветком. Потом это прошло.

И сегодня, через пятьдесят прошедших лет, Хару смотрел на тот же цветок и удивлялся, что сейчас опять двадцатое мая и четыре часа дня. Однако одно отличие все же было: на этот раз он смотрел на цветок внутри себя. И еще: всё — ирис, колокол, сад — происходило в настоящем. И последнее, самое замечательное: в этом всепоглощающем настоящем растворялась боль. Он услышал шум за спиной и понадеялся, что его оставят одного. Подумал о Кейсукэ, который где-то ждет, когда он умрет, и сказал себе: «Жизнь сводится к трем именам».

Хару — тот, кто не хотел умирать. Кейсукэ — тот,

кто не мог этого сделать. Роза — та, кто живет.

Частные покои, где находился Хару Уэно, принадлежали главному священнику храма, брату-близнецу Кейсукэ Сибаты, человека, благодаря которому свершилось его предназначение. Братья Сибата происходили из старинной семьи Киото, которая с незапамятных времен поставляла городу лакировщиков и монахов. Поскольку Кейсукэ равным образом ненавидел религию и — из-за блеска — лак, он выбрал гончарное дело, но был также художником, каллиграфом и поэтом. Примечательным во встрече Хару и Кейсукэ было то, что изначально между ними возникла чаша. Хару увидел эту чашу и понял, чем станет его жизнь. Он никогда не встречал подобного творения: глиняное изделие казалось старым и в то же время новым — сочетание, которое он раньше считал *невозможным*. Рядом на стуле развалился человек без возраста и, если только подобное выражение имеет смысл, того же разлива, что и чаша. Помимо этого, он был вдребезги пьян, и Хару нос к носу столкнулся со столь же невозможным сочетанием: с одной стороны — совершенная форма, а с другой — ее создатель, пропойца. После того как их представили друг другу, они закалили в саке дружбу на всю жизнь.

Дружба: вторая нить, на которой держалась жизнь Хару.

Сегодня перед ним предстала смерть в виде сада, и все остальное, кроме этих двух моментов, разделенных дистанцией в полвека, стало невидимым. Облако задело вершину Даймондзи[2], волной прислав запах ириса. Он подумал: «Остались только эти два мгновения и Роза».

Роза: третья нить.

---

[2] Примечания: 2

Даймондзи — гора на северо-востоке Киото, один из символов города.

До





Встреча Хару Уэно и Кейсукэ Сибаты состоя-

лась пятьдесят лет назад в доме Томоо Хасэгавы, кинорежиссера, снимавшего документальные фильмы об искусстве для национального телевидения. Хотя обычно японцы редко принимают у себя гостей, в доме Томоо можно было встретить японских и зарубежных художников и артистов, а также прочую публику, не имевшую отношения ни к художникам, ни к артистам. Сам дом походил на парусник, уткнувшийся в мшистый берег. На верхней палубе наслаждались ветром, проникавшим через окна даже в разгар зимы. Корма судна упиралась в склон холма Синнё-до. Нос указывал на восточные горы. Томоо задумал, нарисовал и построил этот дом в начале шестидесятых годов, чтобы затем открыть его для всех любителей искусства, саке и вечеринок. Вечеринки включали в себя дружбу и смех в ночи. Искусство и саке подавались в чистом виде. Они извечно сохранялись такими, какими и были по своей природе. Ничто и никогда не могло замутить чистоту их эфира.

Итак, вот уже почти десять лет Томоо Хасэгава царил на холме. Его называли Хасэгава-сан или То-тян, используя любовно-уменьшительное детское имя. В его доме приходили и уходили в любое время, даже в отсутствие хозяина. Его лю-

били, мечтали ему подражать, но никто не таил на него обид. Кроме того, он обожал Кейсукэ, Кейсукэ обожал его, и, словно сговорившись, они оба обожали холод. В любое время года они бродили полуодетыми по аллеям храмового комплекса, и на заре десятого января 1970 года Хару впервые составил им компанию. В свете занимавшегося дня холм напоминал льдину, каменные фонари мерцали, в воздухе веяло кремнем и благовониями. Друзья весело щебетали в своих легких одеждах, в то время как у Хару, облаченного в плотное пальто, зуб на зуб не попадал. Однако он не обращал на это внимания, осознав, что в ледяном рассветном воздухе чувствует себя паломником. Родительский дом находился в Такаяме, но местом, где он когда-то жил и будет жить настоящей жизнью, оказался Синнё-до. Хару не верил в предыдущие жизни, но верил в дух. Отныне он станет паломником. И будет непрестанно возвращаться к своему истинному истоку.

Синнё-до, храм, соседствовавший с другими храмами, располагался на северо-востоке города, на возвышенности, которую Хару в расширительном смысле тоже называл Синнё-до. Клены, старинные постройки, деревянная пагода, вы-

мощенные камнем дорожки и, естественно, кладбища на вершине и на склонах холма, одно из которых принадлежало Синнё-до, а другое храму Куродани — и тому и другому Хару, когда у него появились деньги, жертвовал с равной щедростью. На протяжении почти пятидесяти лет каждую неделю он будет проходить под алым порталом, подниматься к храму, огибать его, поворачивать к югу, следуя вдоль двух кладбищ и пересекая третье, смотреть на Киото внизу, у своих ног, спускаться по каменной лестнице Куродани, прогуливаться между храмами, направляясь на север, чтобы вновь оказаться в исходной точке, и каждое мгновение ощущая себя дома. Поскольку буддистом он был только по традиции, но хотел приобщиться к средоточию своей жизни, он взлелеял убеждение, что буддизм есть имя, которое в его культуре присвоили искусству или же, по крайней мере, тому источнику искусства, которое он сам называл духом. Дух был всеобъемлющ. Дух давал объяснение всему. По какой-то мистической причине холм Синнё-до воплощал его суть. Следуя по своему закольцованному пути, Хару проходил по обнаженному остову самой жизни, очищенной от всей ее похабщины, отмытой от любой пошлости.

С годами он понял, что его озарения рождались из внутренней формы этого места. На протяжении веков человеческие существа соединяли здесь строения и сады, располагали храмы, деревья и фонари, и в конце концов эта терпеливая работа претворилась в чудо: меряя шагами аллеи, человек общался на «ты» с незримым. Многие приписывали этот феномен присутствию высших созданий, населяющих священные места, а вот Хару научился у камней из потока своего детства тому, что дух порождает форму, что ничего, кроме формы, не существует, именно из нее вытекает благодать или уродство, а вечность или смерть заключены в изгибах скалы. И потому той зимой 1970 года, когда он еще был никем, Хару решил, что его прах однажды упокоится именно здесь. Ибо Хару Уэно знал не только кто он, но и чего хочет. Он просто выжидал, когда поймет, какую форму должно принять его желание.

Вследствие всех этих обстоятельств в момент знакомства с Кейсукэ Сибатой он увидел средь бела дня свое будущее так же ясно, как стоявшую перед ним глиняную чашу. В тот вечер Томоо Хасэгава в подражание меценатам устраивал прием с целью продвижения группы молодых нетрадиционных художников. По обыкновению,

они принесли на парусник Синнё-до свои творения, и здесь собрался весь Киото; люди пили, болтали, а потом расходились по домам, разнося повсюду имена этих художников. Большинство из них были свободными электронами. Они не принадлежали ни к какой-либо школе, ни к семье и всячески настаивали (что с культурологической точки зрения было довольно сложно) на собственной *самобытности*. Эти молодые дарования не копировали современное западное искусство, а работали с материей родной земли, придавая ей необычный вид, по-прежнему японский, но не вписывавшийся в установленные каноны. В конечном счете они вполне соответствовали вкусам Хару, потому что походили на то, чем хотел быть он сам: молодым, но глубоким, верным традиции, но не скованным, вдумчивым и, однако, исполненным смелости.

В те времена несколько народившихся галерей современного искусства могли выжить, только если параллельно торговали старинными артефактами, а этот рынок был очень замкнутым и требовал наличия мощных связей. У Хару, сына скромного продавца саке откуда-то с гор, не было ни малейшего шанса туда просочиться.

Он оплачивал свою комнату в Дайтоку-дзи[3], помогая поддерживать порядок в храме, а свое обучение архитектуре и английскому — работая по вечерам в баре. Все его имущество сводилось к велосипеду, книгам и набору для чайной церемонии, врученному дедом. Четвертым предметом, находившимся в его владении, было пальто, которое он, постоянно мерзший, носил с ноября по май и на улице, и в помещении. Однако, хотя в том ледяном январе у него не было ничего, в его пустые руки попал изумительный компас. Он думал: «Я буду делать то же самое, что Томоо, но только в большем масштабе».

И он это сделал. Но прежде, после череды ночей, обильно орошенных саке, он изложил свой план Кейсукэ и под занавес заявил: «Мне нужны твои деньги, чтобы начать дело». Вместо ответа Кейсукэ рассказал ему одну историю. Около 1600 года сын торговца захотел стать самураем, и отец сказал ему: «Я стар, и у меня нет других наследни-

[3] Примечания: 3

Дайтоку-дзи — буддийский храмовый комплекс и монастырь дзенской школы Риндзай на севере Киото.

ков, но самураи почитают путь чая[4], и потому я даю тебе свое благословение». На следующий день Хару пригласил Кейсукэ в свою комнату и, используя дедушкин подарок, приготовил ему чай, устроив непринужденную и в то же время отчасти торжественную церемонию. Потом они пили саке, болтали и смеялись. Падавший на храмы снег обнимал фонари белоснежными вороньими крыльями, и Кейсукэ ни с того ни с сего разразился куплетом о тщете религии.

— Буддизм не религия, — сказал Хару, — или же религия искусства.

— В таком случае еще и религия саке, — не преминул вставить слово Кейсукэ.

Хару согласился, и они выпили еще. Под конец он уточнил, какая требуется сумма. Кейсукэ одолжил ему деньги.

После чего Хару начал с блеском преодолевать препятствия. Помещения у него не было, он снял склад. У него не было связей, он использовал связи Томоо. У него не было репутации, он сде-

---

[4] Примечания: 4

Путь чая — специфическое понятие, многие века существующее в китайской чайной культуре, самой древней на Земле. Чаепитие — лишь одна из составных частей этого пути. Цель чайной церемонии — «создание дистанции между миром чаепития и миром повседневности», воспитание чувства покоя и самососредоточенности и в конечном итоге «воспитание души».

лал ставку на то, чтобы создавать репутацию другим. Он очаровывал всех, и Кейсукэ оказался прав: Хару был до мозга костей торговцем, но, в отличие от отца, ему предстояло стать великим торговцем, потому что он был наделен не только деловым чутьем, но и чутьем чая, или, другими словами, благодати. На самом деле существует два вида благодати. Первый — результат духа, родившегося из формы, и ради него Хару отправлялся в Синнё-до. Второй — тот же первый, только увиденный под другим углом, но, поскольку он принимает специфическое обличье, его называют красотой, и ради него Хару ходил в сады дзен и посещал художников. Его взгляд чая прощупывал их произведения и извлекал из них душу, что сам он формулировал так: «У меня нет таланта, зато вкуса в избытке». И в этом он ошибался, потому что существует и третий вид благодати, именно он питает два других, и в нем Кейсукэ видел высший талант. И если, как в случае Хару, благодать коренится в парадоксе, то не становится от этого менее могучей: всю свою жизнь он будет терпеть поражение в любви, но оставаться королем в дружбе.

* * *

Однако дружба — часть любви.

В один прекрасный день, когда безошибочный вкус Хару в отношении «западников» уже не нуждался в доказательствах, Кейсукэ сказал ему:

— Для меня всё — жизнь, искусство, душа, женщина — нарисовано одной тушью.

— Какой тушью? — спросил Хару.

— Японией, — ответил Кейсукэ. — У меня и в мыслях быть не может прикоснуться к иностранке.

У Хару это в голове не укладывалось, хотя он понимал любовь Кейсукэ к жене, да и, по правде говоря, кто бы не понял? Саэ Сибата была всем, чего только может пожелать сердце. Встреча с ней действовала как удар копья. Больно не было, но возникало ощущение, что перед вами очень медленно разворачивается какое-то несказанное действо. Какое именно? Непонятно, как, впрочем, и все остальное, — никто не мог бы сказать, была ли она красивой, маленькой, живой или серьезной. Бледной, это да. А помимо этого, в памяти оставалось лишь ощущение яркого присутствия, которое возникло на вашем пути. Но вот однажды в ноябрьский вечер 1975 года землетрясение

обрушило дерево, когда Саэ и маленькая Йоко ехали по прибрежной дороге недалеко от Касэды, где жила мать Саэ и бабушка Йоко. Легкое землетрясение — и все кончено. Дерево падает на машину, и бесконечность гаснет.

— Это только начало, — сказал Кейсукэ Хару.

— Нет никаких причин, чтобы это продолжилось, — попытался успокоить его Хару.

— Кончай вешать мне лапшу на уши, — сказал Кейсукэ.

— Ладно, — ответил Хару.

Десять лет спустя, четырнадцатого февраля 1985 года, когда умер Таро, старший сын Кейсукэ, Хару стоял рядом с гончаром, не расточая бесполезных слов, и так же двадцать шесть лет спустя, одиннадцатого марта 2011 года, когда пришел черед Нобу, младшего.

— А вот я не могу умереть, — сказал Кейсукэ, когда погиб первый сын. — Это называется «судьба», — уточнил он, беря чашечку с саке, которую протянул ему Хару.

— Откуда ты знаешь? — спросил Хару.

— Звезды, — сказал Кейсукэ. — Надо только уметь слушать. Но ты ведь не умеешь слушать, люди с гор полные придурки.

В действительности Хару Уэно был прежде

всего жестким, какими иногда бывают горцы. Не прошло и десяти лет, как он преуспел сверх всех ожиданий. От своих первых шагов он сохранил манеру арендовать самые странные места и там демонстрировать новые произведения. Единственным, что он приобрел в собственность, был склад для хранения работ. В остальном все переменилось: он стал богат, влиятелен, его художников носили на руках. Тому имелась масса причин, одной из которых была образовавшаяся брешь, в которую он сумел прорваться, но не последним делом оказался и тот факт, что он не только с умом отыскивал новых подопечных, но и с тем же сочетанием искренности и расчета подбирал покупателей. Трудно представить себе, до какой степени это разжигало страсти: мало было просто купить произведение искусства, хотелось стать клиентом Хару Уэно. Поначалу он священнодействовал в одиночку, хотя Кейсукэ часто крутился неподалеку, когда Хару заключал сделки. В наличии всегда имелось саке, и пили до позднего вечера, пока Хару не вез всех куда-нибудь ужинать. Когда остальные валились под стол, они с Кейсукэ возвращались пешком под луной. В такие глубокие часы они говорили о главном.

— Почему ты пьешь? — спросил Хару еще до смерти жены друга.

— Потому что я знаю судьбу, — ответил Кейсукэ.

И когда умерли Саэ и маленькая Йоко, он сказал другу:

— Я же тебя предупреждал.

В другой раз Хару спросил:

— Что для тебя ценнее — незримое или прекрасное?

Кейсукэ не появлялся несколько дней, а потом принес Хару самую чудесную картину, какую когда-либо кто-либо написал. Иногда они просто любовались звездами, покуривая и беседуя об искусстве. В другие ночи Кейсукэ рассказывал истории, где смешивались классическая литература и его личный фольклор. Наконец, каждый возвращался к себе, в дома, расположенные метрах в двухстах друг от друга, на брегах Камо.

Камо… метрономом жизни Хару была еженедельная прогулка в Синнё-до, но якорь он бросил на берегу реки, протекавшей через Киото с севера на юг, разделяя город на две части. Все коренные горожане знают: именно ее берега, песчаные тропы, дикие травы и цапли задают пульс древнего города.

— Дай мне воду и гору, — говорил Кейсукэ, — и я слеплю тебе мир, долину, где вьется неуловимое.

Хару купил старое полуразвалившееся строение, которое, повернувшись спиной к западу, разлеглось вдоль реки и смотрело на восточные горы. Он еще не завершил архитектурное образование, но, видит бог, уж нарисовать дом он мог. Вместо дряхлой хибары он возвел чудо из дерева и стекла. Снаружи дом выходил на воду и горы. Внутри он распахивался крошечным садам. В центре главной комнаты в стеклянном стакане, открытом небу, жил молодой клен. Хару использовал мало мебели, но очень обдуманно; он привез сюда несколько произведений искусства. Свою спальню он оставил совершенно пустой — единственным исключением стали футон[5] и картина Кейсукэ. По утрам он пил чай и смотрел, как вдоль берегов среди кленов и вишен мелькают бегуны. По вечерам он работал один в своем кабинете, угловые окна которого выходили на восточные и северные горы. И наконец, он укладывался спать, прожив еще один день в долине неуловимого. Однако половину времени он проводил не один: на купленном

---

[5] Примечания: 5

Футон — традиционный японский матрас.

складе он устраивал приемы, где пили и танцевали между упаковочными ящиками, а у себя дома — дружеские посиделки, где пили и беседовали у стеклянной клетки с кленом. Люди бывали и у Томоо, где неизменно встречали Хару, как и у Хару — Томоо, где у того имелись свои персональные палочки для еды. И в любом случае и там и там присутствовал Кейсукэ.

Наступает двадцатое января 1979 года, и, конечно же, Кейсукэ на месте. Саэ и Йоко уже в ином мире, но Таро и Нобу, два его сына, пока еще среди живых. Вместе с ними в своем недавно распахнувшем двери доме на берегу Камо Хару празднует тридцатилетие. Как обычно, присутствуют завсегдатаи, незнакомцы и много женщин. Саке льется рекой, витает легкий смех, время похоже на пальмовые ветви, ласкаемые бризом. Снаружи идет снег, и каменный фонарь в клетке клена покрыт белоснежными вороньими крыльями. Вместе с Томоо входит женщина, Хару видит ее спину, рыжие волосы, собранные в пышный пучок, зеленое платье, бриллианты в ушах. Она разговаривает с Томоо, смотрит на дерево, поворачивается, и ему открывается ее лицо. Внезапно, без всякого предупреждения, как иногда падает туман, с легкостью покончено.

* * *

— Веер не может развеять туман, — говорит Кейсукэ молодому скульптору, не глядя на того, потому что смотрит только на Хару.

Он замолкает, и через несколько секунд недоумевающий молодой скульптор сбегает, пробормотав невнятные извинения, но Кейсукэ, поглощенный зрелищем занимающегося пожара, не обращает на него никакого внимания. Он умеет читать звезды, и пожары ему тоже знакомы — а в этой женщине, без сомнения, гнездится один из них. Он не боится за Хару — пока еще нет, — он боится за нее. Никогда прежде он не встречал человеческого существа, в котором бы чувствовалось подобное *не-присутствие*.

— Это Мод, она француженка, — говорит Томоо, и Кейсукэ думает: «Туман».

Рядом стоит Хару, и Кейсукэ думает: «Веер». Он перехватывает взгляд зеленых глаз француженки, изящно обведенных темными полукружьями. Она говорит что-то по-английски, Хару со смехом отпускает в ответ какое-то короткое замечание.

— Я не говорю по-английски, — отвечает Кейсукэ по-японски.

Она делает небрежный жест, что может озна-

чать как «это не страшно», так и «кому какое дело». У всех возникает ощущение, что пространство — а может, и время — искривляется, потом все вроде бы приходит в норму, и Кейсукэ знает, что женщина проведет эту ночь у Хару. Сегодня вечером в комнате присутствует немало женщин, которые были или остаются его любовницами. Он самый обаятельный из мужчин и лучший из друзей, для которого любовь лишь ответвление дружбы, а семья… «Семья — слишком низкая ветвь, недолго и макушкой стукнуться, я предпочитаю ветви повыше», — обычно заявлял он, но до того, как погибли Саэ и Йоко. На похоронах, раз уж дружба — часть любви, он говорит:

— Судьба плохо выбирает ветви.

Зато этим вечером сам Хару пытается разогнать туман. С бокалом саке в руке, лишенный способности видеть, он пускает в ход все свои веера: веер беседы на прекрасном английском, которому завидуют все японцы; веер юмора, с которым он управляется в европейском стиле; веер непринужденной болтовни, искусством которой он овладел благодаря своему кругу общения, в частности знакомству с французами. Но ничто не может развеять таинственности дамы. Она говорит, что работает пресс-атташе в

одном культурном фонде, он пытается прочесть ей лекцию о японском искусстве. Она слушает с непроницаемым видом и в какой-то момент тихо говорит *я согласна*, и это звучит как *я умираю*. Хару запутался в этой женщине, она кажется ему бесконечной, и в то же время ее будто здесь нет, он стоит перед пустотой, в которой плавают мертвые звезды. Он замечает, что у нее очень красивый рот, уголки губ образуют удивительную складку; мгновенно чувствует, что добьется своего, хотя что-то от него ускользает.

На другом конце комнаты что-то еще вызывает у Кейсукэ тревогу, хотя в голове у него никак не складывается отчетливое представление, что именно, а поскольку саке есть факел, озаряющий корни вещей, он пьет. Час спустя налицо единственный явный результат: он вдребезги пьян, сидит на полу, привалившись спиной к стеклянной клетке клена и вытянув ноги, а голова сквозь прозрачное стекло кажется увенчанной мерцающими вороньими крыльями. Это прекрасная ночь, залакированная снегом, небо ледяное, звезды без лишнего блеска подсвечивают его густую тушь. Француженка и Хару стоят по другую сторону дерева, и Кейсукэ вновь поражается царящей в этой женщине пустоте, против которой саке

бессильно, поскольку у бесплотности нет корней. И однако, это не-присутствие, эти текучие безразличные жесты распространяют вокруг дуновение пожара. Он различает изумрудное платье, бриллианты в ушах, помаду, тонкое лицо. Но все связующее тонет в неопределенности — пропорции, сочленения, сцепление, все то, что слагает отдельные части в единство. Кейсукэ не может представить себе эту женщину целиком и знает, что алкоголь тут ни при чем, все дело в отсутствии в ней тех невидимых связок, которые соединяют разрозненные фрагменты живых существ. На него наваливается воспоминание о Саэ; вот они в доме на Камо, он узнает спальню, свет, тело жены, и в этом текучем пожаре, коим является Мод, перед ним вдруг предстает нечто прямо противоположное тому, кем была Саэ. По правде говоря, он, словно в приступе своеобразной слепоты, не различает ни форм, ни контуров, но эта невосприимчивость к обычным параметрам, присущие зрению, позволяет ему распознать скрытое. И потому он, навеки обреченный вдовству и искусству, пронзает туманы, скрывающие видимое и выявляющие невидимое, то единственное пространство, где он еще может вылепить чьи-то присутствия. Иногда, при

должном количестве саке, дружба вносит свою лепту, и из всех прочих Хару остается тем, кто ярче всех сияет во мраке. Было что-то *воплощенное* в этом мужлане с гор — Кейсукэ чувствует в нем изломы, словно сеть кракелюров, и это глубоко его трогает. В остальном, и главным образом в искусстве, они пребывают в разных частях спектра: Хару взыскует формы, к второстепенности которой стремится Кейсукэ, загоняя невидимое в извивы, где не существует ни линий, ни текстуры, ни цвета. Все отходит на второй план, чтобы уловить предмет в его обнаженности, и тогда он уже не предмет, а присутствие, и в этом беге с завязанными глазами Кейсукэ по-прежнему надеется увидеть дух в его чистом виде.

— Однако в конечном счете остается женщина или чаша, — замечает Хару.

— Ты слеп, потому что смотришь, — отвечает Кейсукэ. — Ты должен научиться не смотреть.

И вот Кейсукэ сидит, привалившись к стеклянной клетке с кленом, и ужасается тому пожару, коим является Мод, если глянуть на нее его глазами, привыкшими к меркам существования Саэ. Он думает: «Что делает огонь, бегущий в пустоте? Он не разгорается и не подымается ввысь, он медленно пожирает себя изнутри». По мере того как

обостряется его ви́дение, крепнет уверенность, что он упустил нечто важное, и ему странно находиться совсем рядом со средоточием трагедии и не видеть ее. Увы, он слишком пьян, чтобы понять знаки, заключенные в этом зрелище, и просто наблюдает за Хару, который все щебечет и щебечет, в то время как женщина задумчиво слушает, слегка наклонив голову. А Хару не замечает, что Кейсукэ следит за ним. Он много выпил, но если и пьян, то лишь от благосклонности этой иностранки, она удивляет и очаровывает его, он теряет голову от ее профиля камеи, светлой кожи, рыжих волос. Он смутно чувствует за всем этим — но за чем именно? — иную странность, но решает, что поразмыслит об этом *после*. Единственное, чего он хочет, — целовать эти губы, ласкать плечи и грудь, проникнуть в ее тело, и думает: «Остальное откроется *после*».

* * *

И вот сейчас, сорок лет спустя, когда Хару Уэно смотрит на смерть, облаченную в сад, перед ним снова проходят жизни, высеченные этим *после* — после Саэ, после Мод, после Розы, — и думает: «Кейсукэ горло надсадил, твердя мне об этом, а я не желал замечать никаких признаков, я ничего

не видел, потому что продолжал смотреть». Но в тот день, двадцатого января 1979 года, гости постепенно покидают дом, Кейсукэ увозят на строительной тачке, и все долго смеются в ночи, потому что холод не пугает этих выходцев из *до*. Однако один из них знает, что они уже скользнули в *после*, и осталась лишь долгая литания *после*, и вся жизнь есть это непрестанное *после*. Укладывая гончара в тачку, Томоо, тоже пьяный в стельку, сказал ему «Хару», но Кейсукэ услышал «опасность». Для того, кто обладает внутренним глазом, чистота саке всегда остается нерушимой. Ничто и никогда не может замутить этот эфир. Кейсукэ уверен, что саке может взять над ними верх, но никогда не возьмет их душу. Благодаря глазу и саке оба увидели, что Хару в опасности.

В опустевшем доме на Камо Хару входит в воду, и француженка следует за ним. Он рассказывает ей о дереве хиноки[6] и о том, как скучает по временам сэнто[7], когда у японцев еще не было отдельных ванных в домах. Она сидит напротив него, проводит рукой по гладкому деревянному бортику купели.

---

[6] Примечания: 6
Хиноки — кипарисовик туполистный, японский эндемик.

[7] Примечания: 7
Сэнто — японские общественные бани.

— Но ведь сэнто еще есть, — тихо говорит она.

Хару качает головой.

— Они исчезнут, — отвечает он.

Большая ванна мерцает в светотени ночного часа, луна и садовые фонари бросают отсветы на ее лицо и тело. У нее белые груди, плечи балерины, она вытянута, как стебли тростника, изящно худощава. По непонятной причине Хару вспоминает одну историю, рассказанную Кейсукэ, и пускает в ход новый веер.

— В середине эпохи Хэйан[8], в тысячном году по вашему календарю, — говорит он, — наступили удивительно прекрасные рассветы. В глубине небес угасали охапки алых лепестков. Иногда в эти отсветы пожара попадали большие птицы. При императорском дворе жила одна дама, заточенная в своих покоях. Благородство ее рода наложило на ее судьбу печать плена, и даже маленький сад, примыкавший к спальне, был ей запретен. Но чтобы полюбоваться на рассвет, она опускалась на колени на деревянный настил внешней галереи, и с первого дня нового года каждое утро в сад приходил лисенок.

Хару замолкает.

---

[8] Примечания: 8

Эпоха Хэйан — период в истории Японии с 794 по 1185 год. Слово «Хэйан» в переводе означает «мир», «спокойствие».

— И?.. — спрашивает француженка.

— До самой весны зарядил сильный дождь, и дама попросила своего нового друга присоединиться к ней в укрытии, под навесом небольшой террасы, где рос всего один клен и несколько зимних камелий. Там они научились понимать друг друга в молчании, но позже, придумав общий язык, единственное, что они сказали друг другу, — имена своих мертвых.

Хару снова замолкает, и на этот раз она не говорит ни слова. Едва ему показалось, что в тумане он различает силуэт, как он почувствовал, что крепость растет — огромная неприступная крепость теней, и его охватывает желание, тоже огромное, обладать этой женщиной. Еще позже он изумляется чуду, этим распахнутым бедрам, этой расщелине, куда он проникает. Он в восторге от ее тела, и нечто неопределимое, безмерно волнуя его, еще больше распаляет желание. Она не отрываясь смотрит на большую картину напротив кровати и иногда делает легкий жест, который кажется ему невероятно эротичным. Сразу после он засыпает в путанице снов, где перекликаются лисица и купель. Женщина в этих снах струится у него между пальцами, она пленница, но пленница текучая, а главное, она

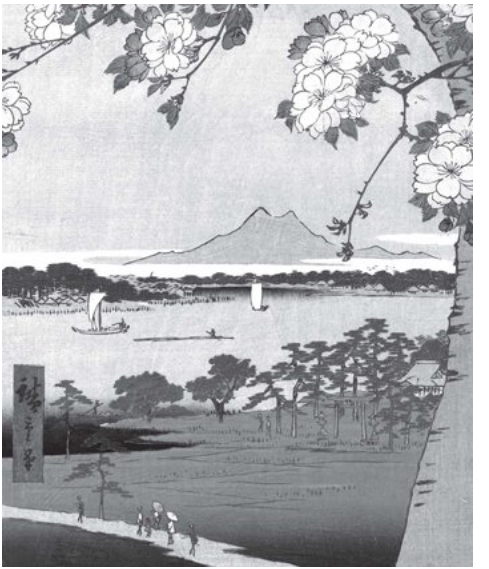
пребывает вовне.

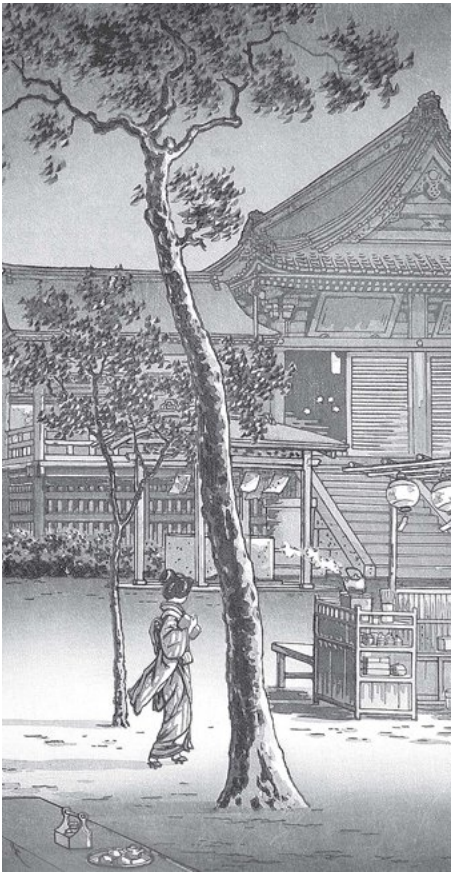
Проснувшись, он обнаруживает, что остался один. В следующие ночи она возвращается. В ванне он рассказывает ей какую-нибудь историю. Потом они идут в спальню. Каждый раз она не сводит глаз с картины. Ее тело служит Хару источником бесконечного ослепительного опьянения. Он словно погружен в хрустальный поток и в этом безоглядном непротивлении видит безоглядный дар. Он без ума от ее бедер, кожи, от ее редких жестов — все это лишает его и уверенности, и ориентиров. Женщины любят Хару, потому что он любит их удовольствие, но с нею он даже не задается этим вопросом. Он перешел границу и принял обычаи другой страны, он думает, что ее наслаждение тоже где-то *вовне*. Через несколько дней он решит, что принял безразличие за согласие, бездну за страсть, а чуть позже — что он желал этой бездны. Но в ту ночь, десятую, он ложится на эту призрачную женщину и входит в нее, как пробиваются сквозь темную волну. Чуть раньше, вечером, они встретились у Томоо, и он мечтал лишь о том часе, когда сожмет в объятьях это бледное тело. В какой-то момент она поправила прядь волос тем же жестом, что и в любви, и впервые в своей мужской жизни

он захотел женщину — эту женщину — только для себя одного. Он даже не думает о том, что за десять ночей она не сказала ему и десяти слов. В тумане он не видит пожара. Он видит зеленые глаза и жесты танцовщицы. Как всегда, он воспринимает форму.

Он входит в нее, и ее молчаливая пассивность приводит его к неизведанным экстазам. Без сомнения, если бы она ожила, чары бы разрушились, но она не оживает, и он тонет в собственном блаженстве. Он движется туда и обратно в этом светоносном разломе, все, чего бы ни захотела эта женщина, он захочет тоже, но затем что-то внезапно меняется, и она предстает другой. В занимающейся заре ее обнаженное тело кажется прозрачным, и впервые она не смотрит на картину: она наблюдает за ним. У нее расширенные зрачки, темные глаза, и его охватывает ужас, словно он накалывает на булавку живое насекомое. Ее бледность — ловушка, поглощающая свет, и он кончает в молчании, в давящем ощущении катастрофы. Она встает, одевается, говорит, что уезжает в Токио и они увидятся, когда она вернется. Он ничего не понимает, но нимало не сомневается: это конец, и он даже не знает, конец чего.

После





Итак, Хару Уэно родился и умирал, глядя на ирис. Отныне он знал: чтобы чувствовать свое присутствие среди вещей, следует родиться и умереть, и каждый раз это будет происходить в саду.

В дни молодости сад дзен храма Дайтоку-дзи покорил его красотой, равной которой Хару не знал. В его вневременных водах соседствовали бамбук, камелии, клены, фонари, песок и резные, как кружево, деревянные постройки, полные тайных переплетений и чудесных уголков. В Синнё-до, напротив, храм был темен, массивен и походил на укрытие, где прячутся от бури. В силу того же стремления к минимуму средств частный сад главного священника храма состоял всего из трех камней, сосны, полоски серого песка и фонаря, вросшего в мох, но, согласно древней традиции, весь вид направлял взгляд на более просторный пейзаж восточных гор. «Я так любил все соития замкнутого и распахнутого, — подумал Хару, — однако сейчас мне ничего не нужно, кроме этих трех камней и полоски разлинованного граблями песка». Он снова вспомнил одну из любимых историй Кейсукэ: в древнем Китае император решает отблагодарить дальновидного советника и предлагает ему выбрать себе подарок

среди неисчислимых императорских богатств, а мудрец просит всего лишь миску риса и чай, и ему отсекают голову за дерзость. Доходя до этого места, Кейсукэ всякий раз хохотал, и сегодня Хару подумал: «Он рассказывал эту историю для дня моей смерти. Я держу весь мир в своих ладонях и выбираю ирис и розу. В расплату за это сокровище мне сейчас отрубят голову». У него за спиной отодвинулась дверь, и он закрыл глаза.

— Кейсукэ передал тебе это, — донесся голос Поля.

Вновь оставшись один, Хару открыл глаза и увидел стоящую перед ним черную чашу. Он подумал: «Конечно», — и завязка, и развязка произошли у Томоо.

На самом деле с первого же рассвета Хару понял: Синнё-до был землей паломничества, Томоо — ее стражем, а Кейсукэ — паромщиком. Монахи полагают, что через последнюю реку могут переплыть только мертвые, но Хару был убежден, что гончар не единожды бороздил ее при жизни, а протекает эта река через Синнё-до. Однажды он тоже пересечет ее на лодке дружбы и, возможно, в свой черед увидит мир глазами гончара. Хотя он не ходил рука об руку со смертью, на холме всегда чувствовал себя дома, потому что верил

в чай, в истинность реки и в незримое, ставшее зримым. Сегодня, через пятьдесят лет после встречи с чашей Кейсукэ у Томоо, он впервые видел ее по-настоящему. Чаша размывалась, но не исчезала, она была матовой, простой, обнаженной, Хару не сводил с нее глаз, и вскоре ее форма начала растворяться, от нее остался лишь слепок без материальной субстанции и контуров, от него исходил глубокий покой, и Хару подумал: «Наконец-то я прохожу сквозь туман».

Через неделю француженка вернулась из Токио, он увидел ее у Томоо, заметил враждебность в ее лице и отвернулся. Он больше не хотел ее, считал холодной, как рептилия, и ждал, когда она уедет и жизнь вернется в свое русло. Кейсукэ не показывался, Хару ушел еще до окончания вечеринки, отправился домой, принял ванну, почитал немного и лег спать. Он не боялся, что будет страдать, хотя и знал, что где-то внутри останется — и у него, и у нее — отметина от этих странных десяти ночей. Однако со временем, чудесным временем со многими женщинами и прогулками по снегу, он начал испытывать легкую тревогу. Он чувствовал, что следы Мод угнездились где-то глубоко, в некоем слепом пятне души. Если он думал о тех десяти ночах, проведенных с ней, то

был не способен *представить* их, все оставалось в мертвой зоне, и он чувствовал себя и незрячим, и осознающим свою слепоту. Он, всегда уверенный, что знает себя, больше не ощущал себя прежним и, по мере того как продолжал вести ту же жизнь, что и *до* (подспудно сомневаясь, что она когда-нибудь вновь такой станет), чувствовал, как растет его беспокойство. Занимаясь любовью — вновь обретая радость от того, что занимается любовью с женщиной, — он не думал о Мод, но начинал по-новому побаиваться себя, словно вкралось крошечное смещение, на долю миллиметра исказив карту его существа. Больше того, на смену изначальному беспокойству пришло смутное чувство угрозы.

На вечеринке у Томоо, последней перед тем, как француженка должна была покинуть Японию, он познакомился с англичанкой. Он уже встречался с ее мужем, застройщиком из Токио, который перевез жену и сына в Киото. Мужчина ему не нравился — коммерсант, думающий только о деньгах, не вызвал никакого уважения. В «Системе Хару» деньги служили лишь для того, чтобы прокладывать путь искусству, покупать саке и строить стеклянные клетки для кленов. Бет, жена застройщика, была слеплена из того же

теста, что и сам Хару. Их представили друг другу, они поболтали немного о всяких безобидных пустяках, и он понял, что будет с ней спать и они станут большими друзьями. Она была женщиной жесткой, но не той жесткостью, которая могла бы его ранить, потому что Бет ждала от людей понимания своего места — и в мире, и в самих себе, а если этого не обнаруживала — просто проходила мимо. Как и Хару, она презирала деньги, как и он, любила командовать и строить, хотя в то время ее еще не подпускали к браздам правления семейным предприятием, которое она после смерти мужа превратила в империю. После любви Хару нравилось смотреть, как она сидит напротив, нагая, светловолосая, угловатая, потягивая чай, пока они обсуждают текущие дела. Он знал, что у нее есть и другие любовники, что мужа это не заботит и что она может позволить себе неслыханную вольность, причем в стране, совершенно непривычной к свободе женщины. И наконец, у нее был сын, Уильям, единственное существо, которое она когда-либо любила и которого ей суждено было потерять по собственной вине. Когда она заговаривала о нем, ее кожа обретала перламутровый блеск, глаза темнели, она становилась до чертиков красива, озаренная

упоением любви. Судьба любит лишать нас того, что служит нам опорой, и удесятеряет кару тем, кто бестрепетно смотрит ей в лицо. Сегодня, двадцатого мая 2019 года, четыре десятилетия спустя, Хару видел Бет и Мод с новой, необычайной ясностью и думал: «Так собирается пазл; казалось, что мне нравится их жесткость, но я видел их чужеродность — чужеродность, одиночество, их раны и мои собственные».

В тот весенний вечер 1979 года Хару и Бет стали любовниками, и, целуя эти губы западной женщины, утверждаясь в этом теле, он почувствовал, что Мод наконец покидает его. Но поскольку судьба всегда приберегает особые кары для тех, кто бестрепетно смотрит ей в лицо, однажды она обратилась вспять и постучала в дверь дома на Камо.

* * *

Ту, кто открывает дверь, зовут Сайоко. Что до посланника судьбы, он выглядит как безупречно одетый мужчина лет сорока, стоящий под прозрачным зонтиком с каким-то обернутым в шелк предметом под мышкой. Его зовут Жак Меллан, антиквар, специализирующийся на искусстве стран Востока, он подвизается в Париже, и у него

две страсти: сиамские кошки и Киото. Вдобавок у него есть жена, трое сыновей и сложности с пониманием того, почему жизнь заставляет человеческие существа рождаться не в том теле и не в том месте. Накануне, встретив Хару на вечеринке у Томоо Хасэгавы, Меллан понял: ему хотелось бы быть именно Хару Уэно. Сейчас, когда он стоит перед его жилищем, сожаление превращается в боль.

Сайоко смотрит на него, он откашливается. Японки в кимоно производят на него сильное впечатление, он никогда не уверен, что окажется на высоте их удивительного клана. Кроме того, он не знает, кем она приходится Хару — женой, сестрой, любовницей или домоправительницей. Накануне торговец сказал ему, чтобы он зашел перед ужином, и Жак Меллан вырядился как на свидание, а теперь забыл, зачем он здесь, — он даже забыл, что говорит по-японски, и слышит, как голос с ломкими интонациями спрашивает его:

— Меллан-сан?

Он кивает, и японка добавляет:

— Ueno-san wait for you inside[9].

В прихожей стоит большая ваза с темными

[9] Примечания: 9

Уэно-сан ждать вас внутри *(англ.)*.

боками, из которой выпархивают ветки магнолии. В комнате, где ждет Хару, высится клен в стеклянной клетке. Жака Меллана охватывает отвращение при мысли о своей квартире в Восьмом округе, длинной анфиладе комнат с наборным паркетом. В Киото он часто испытывает подобное отвращение, но на этот раз ему хочется не только жить здесь, но и быть этим человеком. А потому он теряет нить задуманного рассказа о себе самом — элегантность, обходительность и недомолвки в стиле Великого века[10] — и думает: «Я отдал бы десять лет своей жизни, чтобы оказаться на месте этого типа».

— О, здравствуйте, здравствуйте, — говорит ему торговец по-английски, жестом предлагая присоединиться к нему за низким столиком.

Японка на мгновение задерживается, сложив руки на оранжевом оби[11], прежде чем удалиться мелкими неслышными шагами. Она возвращается с подносом, на котором стоит набор для саке

---

[10] Примечания: 10

Великий век — традиционно выделяемый во французской историографии период правления трех первых королей династии Бурбонов — Генриха IV Великого (1589–1610), Людовика XIII Справедливого (1610–1643) и Людовика XIV, «короля-солнце» (1643–1715).

[11] Примечания: 11

Оби — традиционный японский широкий пояс, который носят как мужчины, так и женщины.

с орнаментом из цветов вишни. Жидкость, которую разливает по чашечкам Хару, белесая, слегка игристая, немного мутная.

— Это саке из Такаямы, — говорит японец, — у отца с братом там небольшая лавка.

— Как вы составили свое состояние? — спрашивает Жак.

Японец смеется.

— Я нашел свой дом, — отвечает он.

Жак оглядывается вокруг.

— Нет-нет, — говорит Хару, — не этот, но, если у вас завтра есть время, я вас туда отведу.

Француз отвечает, что время у него есть, вспоминает, зачем пришел, и кладет на стол завернутый в шелк предмет. Он знает, что японец не станет распаковывать его при нем, и поэтому говорит:

— Я всегда ношу одну с собой и дарю тому, кто открывает мне дверь.

— Полагаю, не дверь судьбы, — говорит Хару.

— Нет, — отвечает Жак, — невидимую дверь.

Некоторое время они молча пьют, потом Жак поднимается, и Хару говорит:

— Я заеду за вами завтра в половине четвертого.

Назавтра в половине четвертого Жак Меллан

ждет перед входом в свой отель. Он повязал бантом красный в белый горох галстук, предназначенный для особых случаев, сознавая, что стоит на пороге тайного венчания. В такси Хару рассказывает ему историю про лисицу, которую Жак впоследствии вспомнит — в день своей смерти, — но сейчас слушает, не вникая в смысл. Наконец машина останавливается перед аллеей, ведущей к большому алому порталу. Несколько лепестков вишни кружат в теплом майском ветерке, за порталом Меллану видны окаймленные фонарями и кленами каменные лестницы, поднимающиеся к приземистому храму. Справа деревянная пагода, перед храмом просторный двор, вокруг прилегающие постройки. Ни единого человека, и, если у Жака Меллана с его шелковыми галстуками, кашемировыми халатами и ужинами в клубе еще оставалось сомнение, оно мгновенно рассеивается, потому что здесь явный избыток невидимых дверей. Француз следует за японцем ко входу в храм и, поглощенный внутренними катаклизмами, пропускает все мимо ушей. В восторге, смешанном с благоговением, он ступает на незнакомые пороги и чувствует за спиной чье-то присутствие, но, обернувшись, не видит ни единой живой души. Спрашивает себя,

как же он умудрился пропустить подобное место, ведь он часто бывал напротив, в Серебряном павильоне[12], и посещал святилище Ёсида, всего в двух шагах отсюда. Увы, ответ известен: он не Хару Уэно, он не японец, он всего лишь бедняга Жак Меллан. Торговец предлагает ему обогнуть храм, и они оказываются под самым прекрасным в галактике сводом кленов, чья листва смыкается в бесконечно изящную арку. У Жака сжимается сердце, и, охваченный сладкой мукой, он не слышит вопроса, с которым обращается к нему другой.

— Простите? — бормочет он, и японец повторяет вопрос:

— Ну, как с невидимой дверью? — и, не ожидая ответа, сворачивает направо, на мощенную камнями и песком тропу между кладбищами.

Где-то вдали раздаются четыре удара гонга. А еще где-то, куда дальше, в личных пространствах Жака Меллана, происходит некое сопряжение, и реальность, та, в которой он шагает между могилами и каменными фонарями, меняет *субстанцию*. Повсюду качаются на ветру тонкие

---

[12] Примечания: 12

Серебряный павильон — официальное название Дзисё-дзи; построен в 1483 г., изначально предполагалось покрыть его весь серебром, но из-за бедствий войны это не получилось.

деревянные стержни, изукрашенные надписями, в которых, как ему кажется, он читает текст своего посвящения в сан. Недолгая прогулка, они доходят до конца аллеи и оказываются на вершине длинной лестницы, которая, пересекая кладбище, ведет к другим храмам, стоящим во впадине у холма. За спиной у них деревянная пагода, внизу в своей чаше раскинулся Киото, над ними восточные горы. Время покрывается невесомой взвесью — легкая пыль, летящая на путях мира, преображает течение его часов, и между рождением и смертью Жак Меллан прогуливается по дороге своей жизни.

На самом верху лестницы они останавливаются и смотрят на город.

— Рильке, — отвечает Меллан на вопрос, который Хару задал ему десять минут назад.

Японец смотрит на него.

— Вчера, у Томоо Хасэгавы, — говорит Меллан, — мы восхищались горами, покрытыми нежной майской зеленью, и я сказал: это красиво, но самый прекрасный сезон — это осень. И вы тогда процитировали Рильке: «Листва летит, как будто там вдали за небесами вянет сад вы-

сокий»[13].

— А, — говорит Хару, — мне эти стихи читал мой друг Кейсукэ, горячий поклонник Рильке.

— Но ведь так оно и есть, — говорит Жак, — это Япония в чистом виде: небеса, за которыми вянут сады.

Хару посылает ему улыбку.

— Сады для богов, — добавляет Жак. — Вы не можете себе представить, как для меня важно открыть эту дверь.

— О, поверьте, вполне могу, — отвечает Хару. — Я знаю, что такое жизнь человека.

Они на мгновение замолкают, потом Жак спрашивает:

— Что это был за гонг?

— Гонг Хонэн-ин, — отвечает Хару, — монахи звонят в него каждый день при закрытии.

— Маленький храм к югу от Серебряного павильона? — спрашивает Жак.

Хару кивает, рукой указывая направление.

— Мы сейчас в Куродани — так обычно называют храм Конкайкомё-дзи, — То-тян живет на восточном склоне Синнё-до, в двух минутах отсюда, а Серебряный павильон чуть дальше, минутах

---

[13] Примечания: 13

Цитата из стихотворения Райнера Марии Рильке «Осень» (*Herbst*, 1906). — *Здесь и далее перев. В. Куприянова.*

в двадцати хода.

По обе стороны лестницы идут ряды могил вперемежку с нандинами[14]. Меллан знает, что здесь нет места случайности и что вся его жизнь отныне держится на мгновениях, сосредоточенных в промежутке, отделяющем дом То-тяна от этой кладбищенской лестницы. Возможно, он умрет в глубокой старости, да и уже немало пожил, но сердцевина его существования раскрывается здесь и сейчас, единовременно и на веки вечные. Он делает глубокий вдох, возрождаясь и скорбя, в счастии и непроглядном отчаянии. «Вот, — думает он, — жизнь сводится к двум дням и нескольким сотням шагов». Японец не говорит ничего, но Меллан, вне себя от жаркой любви к этому паромщику, только что превратившему его в пилигрима, желает возблагодарить судьбу, которая послала ему эту встречу.

— Это одна моя подруга посоветовала мне пойти к Томоо, и благодаря ей я познакомился с вами; Мод Ардан, знаете такую?

— А, Мод, — говорит Хару небрежным тоном. — Как у нее дела?

— О, — говорит Жак, — не знаю, с нею никогда

---

[14] Примечания: 14

Нандина, она же «небесный бамбук», — вечнозеленые кусты семейства барбарисовых.

ничего не поймешь.

Он думает о чем-то другом, потом без всякой причины снова вспоминает Мод.

— Как бы то ни было, — добавляет он, — она беременна.

Повисает пауза, которой Меллан не замечает, но Хару совершенно забывает о присутствии француза. Секунду назад он испытывал теплое чувство к этому негоцианту, ставшему человеком веры, теперь же думает только о том, что о существовании своей дочери он узнал там, где когда-нибудь упокоится в могиле. У него нет никаких сомнений, что ребенок от него, как и в том, что это будет девочка. В одночасье он обнаруживает, что он отец и что желает им быть — бессемейным отцом чужеземного ребенка; он потрясен и в то же время принимает это. Он не знает, то ли больше не принадлежит себе, то ли никогда еще не принадлежал себе в такой мере. Кто-то только что щелкнул выключателем, и осветилась незнакомая комната его собственного дома. Он растерян, выбит из колеи и думает: «Мод была не концом, а началом». Чувство соучастия — но в чем? — настолько сильно, что в нем разворачивается вся его жизнь. Все с той же ужасающей ясностью он видит в глубине небес,

как собираются тучи. Отмечает в уме, что надо пожертвовать деньги храму, написать письмо Мод, переваривает головокружительную мысль о передаче своего имущества существу, которому только предстоит появиться на свет, и кристаллизацию своей жизни в три слова, высеченных на камне в Куродани. Он не чувствует ни гнева, ни неуверенности и думает: «Эта нить не может порваться». Рассеянно слушает француза, пока они продолжают двигаться между строениями храмового комплекса, и размышляет о том, что они, двое мужчин, переживших озарение, прокладывают свой путь по тропинкам духа.

— Как зовут вашего любимого сына? — спрашивает он.

— Разумеется, у меня нет любимого сына, — отвечает Жак, — но его зовут Эдуар. Двое остальных просто неотесанные болваны. Думаю, он окажется геем и продолжит мое дело.

Позже они лениво беседуют, сознавая, что момент миновал, что они еще увидятся и им больше нечего будет сказать друг другу. Хару отвозит Жака в отель, возвращается в дом на Камо и звонит Манабу Умэбаяси, японцу, обосновавшемуся в Париже, где он знает всех из мира культуры. Хару просит его найти адрес некой Мод Ардан и

назавтра отправляет письмо, где сказано: «Если ребенок от меня, я готов». Несколько недель протекают в тумане, и наконец Хару получает ответ: «Ребенок от тебя. Если ты попытаешься увидеть меня или его, я покончу с собой. Прости».

* * *

После долгого времени прострации и ужаса, поддерживаемый той же невидимой нитью, которая побудила его написать Мод, Хару сделал то, что умел лучше всего: приступил к организации. С этой целью после недолгих колебаний он доверился другому мастеру все организовывать из собственного дома. Сайоко открыла дверь вестнику судьбы, она была тому единственным свидетелем, и он рассказал ей, что скоро станет отцом французского ребенка, которого ему не позволят увидеть.

— По крайней мере, сейчас, — уточнил он и добавил: — Я говорю вам это, потому что понадобятся фотографии.

Она согласно опустила голову, уселась за низкий столик у клена и посвятила следующий час подведению бухгалтерского баланса. Наконец она поднялась и принесла Хару чашку чая.

— Это будет девочка? — спросила она.

Он кивнул, она ушла.

Шестью месяцами раньше в комнате с кленом проходил смотр кандидаток на должность домоправительницы, но среди них лишь Сайоко выделялась на фоне дерева с непреложностью особенной ветви. Хару увидел, как она смотрит на стеклянную клетку, и паломник распознал в ней все знаки. Ее домашний очаг остался там, где были муж и сын, но местом, где она жила и будет жить настоящей жизнью, стал дом на Камо. К тому же она обладала всеми качествами, необходимыми для ее миссии, то есть теми, которые позволяют приводить в порядок видимое, и теми, что приручают невидимое. Больше того, она обожала Кейсукэ, тот превращался в часть обстановки, когда тянул свое саке, лежа на диване в большой гостиной. Следуя своей неортодоксальной классификации божеств в синтоизме и в буддизме, она твердо верила, что Кейсукэ — один из тех героев, которых горячо приветствуют обе религии, и в этом ее не могли разуверить ни вонючий перегар, ни невыносимый храп горшечника: поскольку Кейсукэ видел то, чего не видят остальные, он имел полное право пить, чтобы найти свой путь в обыденной жизни. К тому же ему было необходимо святилище, куда

он мог бы принести свое искусство и свой траур, и этим святилищем стал дом у реки, смотревший на горы. Сайоко, с ее кимоно, невозмутимостью и интендантским талантом, понимала это инстинктивно, вот почему она любила Хару, но почитала Кейсукэ.

В следующие недели Хару заново обустроил свою жизнь. Он написал ответ Мод: «Я подчинюсь твоему желанию и не буду искать встреч со своей дочерью, я не причиню тебе боли». Через Манабу Умэбаяси он нанял, щедро заплатив, частного детектива и фотографа, знающих английский. В своем кабинете он велел разместить на стенах кипарисовые панно и стал ждать, когда третья нить его жизни проявится на сцене мира. На рабочем столе он поставил подарок Меллана, копию маленькой первобытной статуэтки цвета слоновой кости, которая, как он выяснил, изображает богиню плодородия — и, таким образом, судьбы, решил он. Лето выдалось жарче обычного, и ему нравились эти влажные ожоги, в то время как срабатывал непостижимый механизм, благодаря которому его пренебрежительное отношение к отцовству переродилось в надежду. Нечто внутри него желало этого ребенка, рожденного из катастрофы, и в нем даже зрела чарующая уве-

ренность: однажды дочь придет на этот холм и в свой черед поймет, что стала паломницей.

На смену летним дням, отданным на откуп ожиданию, женщинам, саке и искусству, явилась щедрая осень. Деревья на горах жарко пламенели. В глубине небес увядали охапки алых цветов. В зареве кленов билось сердце древней Японии. По мере того как близилось рождение чужестранного ребенка, Хару уверился, что в нем расцветает обновленная любовь к родной земле. Двадцатого октября он в компании Кейсукэ потягивал у себя дома саке.

— Я все больше и больше люблю Японию, — заявил он, и Кейсукэ расхохотался.

— Ты здесь чужеземец, вот почему ты спишь с европейками.

— Я такой же японец, как ты, — возразил удивленный Хару.

Кейсукэ промолчал.

— Я принадлежу Синнё-до, — снова запротестовал Хару.

— Ты паломник, — сказал гончар, — и скитаешься по собственной жизни. Может, ты и нашел свой дом, но изначально ты сын гор, который вырвал свое сердце и отправился в изгнание. А потому, желая бежать от правил, ты бежишь от

истины.

— От какой истины?

Кейсукэ засмеялся:

— Истина — это любовь.

Хару хотел ответить, но зазвонил телефон, и он подошел ответить новому вестнику судьбы. Когда он вернулся, Кейсукэ прочел ему две строфы из стихотворения Рильке, того самого, которое он сам цитировал Меллану:

— «И прочь летит от звездного мерцанья в пустую ночь тяжелый шар земли». Даже Рильке понимает твою страну лучше, чем ты.

Но Хару было плевать. Ему было плевать на землю Японии, на изгнание, на звезды и на одиночество. Ему было плевать на все, что до сих пор было для него исполнено смысла. Он подождал, пока Кейсукэ уйдет, а когда Сайоко зашла, чтобы убрать набор для саке, сказал ей:

— Ее зовут Роза.

Он произнес имя по-английски, на языке, который выучил, чтобы общаться с европейцами.

— Роза? — повторила Сайоко, произнеся это на японский манер.

Он кивнул, она ничего не добавила и вернулась к себе. Позже он принял ванну, немного почитал, погасил свет и заснул в ощущении благодати.

Он проснулся в середине ночи и с той же определенностью, которая показала ему тучи, сгустившиеся над его долиной, ужаснулся будущему — одиночеству и тяжести земли, — снова без всякой причины подумал о лисице и ее даме-затворнице, встал и пошел к клетке с кленом. Дерево чуть слышно шелестело, и после легкого замешательства он понял его послание. Как всегда, он не слышал звезд. В который раз эта женщина его ослепила. Исходящий от нее резкий свет парадоксальным образом мешал ему видеть, и он предавался самообольщению, придумав себе абсурдную историю, где он все контролирует, и воображая будущее, у которого не было ни единого шанса осуществиться. Однако в конце концов все обрело ясность. Его дочь родилась, и он не будет ее знать. Она пришла из межзвездного пространства и обрекла его на одиночество.

* * *

А потому, раз уж он не мог изменить судьбу, Хару Уэно изменился сам, и эта ночь породила череду метаморфоз.

Для начала он все разузнал. И выяснил, где и с кем жила Мод, восстановил ее историю, социальные связи, круг общения. За несколько недель

он собрал солидную информацию. Однако он хотел знать не просто «чтобы знать», а чтобы в его желании когда-нибудь встретиться с дочерью забрезжил свет. Это желание не могло оставаться только у него внутри. Днем и ночью оно тяжко давило ему на грудь. Оно нарушало его связь с собственным существованием. Оно невидимым экраном отделяло его от мира. Хару смотрел на свои горы и чувствовал лишь тень воспоминания об ускользнувшем восторге. Он лавировал между слепым пятном внутри себя и дальним горизонтом, где таился ключ к его существу. Это мало-помалу разъедало былую уверенность в том, что он себя знает. Хуже того, единственный момент, когда он воскресал, во время своей закольцованной прогулки по Синнё-до, сменялся удвоенным чувством одиночества, едва он возвращался в дом на Камо.

Вскоре информации накопилось столько, что он уже не знал, что с ней делать, и оказался в положении змеи, которая должна переваривать, поститься, а затем линять, меняя кожу. Он пережевывал трапезы, которые ему поставляли, читал и перечитывал отчеты, разглядывал снимки, мучимый ощущением, что он смотрит, не видя. О чем-то говорилось в отчетах, что-то

оставалось за кадром. Отчеты сообщали: Мод Ардан, двадцати восьми лет, не замужем, проводит время между Парижем, где работает, и долиной Вьенны в Турени, где живет ее мать, Паула Ардан, вдова. На одном из снимков, сделанных с помощью телеобъектива, видны были очертания ее усадьбы. Вытянутая на возвышенности, она стояла над рекой, обращенная к волнистым холмам на другом берегу. В центре сада возвышался большой дом гармоничных пропорций с верандой из кованого железа и высокими окнами. Хару нашел красивыми четкие линии светлого камня и вид на долину, где вилось неуловимое, а еще величественные деревья усадьбы. В один из дней, когда в доме никого не было, фотограф проник на участок и сделал множество снимков. В этом парке, где не было воды, все дышало мелодией ручья, поэтому Хару увидел в Пауле союзницу. Он представлял, как она ходит размашистым шагом, останавливается, задумчиво поднимает нос к облакам, — в застывших движениях на фотографиях сохранялась текучесть, в которой он угадывал переменчивость живого ума. Высокая, темноволосая, с прямой осанкой, она казалась явной противоположностью своим владениям, представлявшим переплетение ползучих

растений и старых роз, куда погружаешься, как в тайный пруд. Ее мир был для Хару непостижим, и он воображал, что в своем саду она сама становится текучей, что она любит дождь, что ей бы понравились мхи Киото, и догадывался — или хотел верить, — что именно ей Роза обязана своим именем цветка. Конечно, поначалу это насильственное проникновение в жизнь незнакомки казалось ему преступным, как и собственное нетерпение, с каким он ожидал отчетов, и те долгие часы, которые он проводил, роясь в них. Вокруг него в кабинете воцарился странный покой, изменилась субстанция воздуха: его взгляд пронзал пространство и обнаруживал на расстоянии в десять тысяч километров иную жизнь — принципиально иную. И однако, малопомалу, влюбляясь в эту элегантную женщину, он чувствовал себя менее виноватым и каждый день обращался к ней с немой молитвой, куда вкладывал все свое почтение, но еще и всю благодарность.

Ибо рядом с ней росла его дочь. Он видел Розу в саду, в колыбели, в коляске, а когда пришла весна — в маленьком манеже на траве, где впервые рассмотрел ее по-настоящему, рыжую, бледную, худенькую, пока над нею с улыбкой склонялась

высокая темноволосая женщина. Паула Ардан совсем молодой потеряла мужа, но, будучи богатой от рождения, не видела необходимости ни работать, ни снова выходить замуж. У нее было несколько друзей в соседнем местечке, она ухаживала за своими розами в дружеской близости с ветрами, дождями и воспоминаниями, проводила бóльшую часть времени на природе. Хару не видел для своей дочери лучшей опекунши, чем эта мечтательная звезда, привыкшая к грусти и к цветам. Он смотрел, как они вместе смеются, и говорил себе: «Эта связь не может порваться». А вот об отце Мод он мало что сумел разузнать: кажется, тот преждевременно скончался, не успев оставить в мире следов, доступных глазам живущих, а если внутри дома и хранились реликвии и портреты, то у Хару доступа к ним не было. По загадочной причине он предчувствовал, что судьба его дочери принадлежит женщинам, не раздумывая над тем, что это интуитивное знание исключает и его тоже, что она будет расти без отца, как прежде ее мать, а он сам для нее такой же призрак, портрета которого нигде нет. Впрочем, с какой стати он решил, что бессилен, раз уж чувствует, что вполне жив и дееспособен?

В первое время он переваривал очередную

порцию информации, глядя на фотографии Розы, рыжей, смеющейся, восхитительной, она лежала в траве, подставив лобик небесам. Он без устали разглядывал ее и, почувствовав, что накопил достаточно запасов в преддверии поста, дал себе год терпения. Он больше не сомневался, что добьется своего, и продолжал вести прежнюю жизнь на манер любовников, томящихся в ожидании тайных встреч после разлуки. Сайоко заходила в кабинет, ставила чай или саке, проходила мимо снимков, приколотых к кипарисовым панно, и исчезала, не сказав ни слова. Когда появлялся Кейсукэ, Хару принимал его в комнате с кленом, подальше от своего кабинета, ставшего святилищем, связывающим Киото с горсткой дальних холмов. Он прочел массу книг о Франции, тщательно просеял материалы, но не пожелал учить французский: со своей дочерью он, разумеется, будет говорить по-японски. Наконец, он долго размышлял о способах подобраться к Мод и решил, что напишет Пауле, когда Роза отпразднует свой первый день рождения.

Он этого не сделал. Отчеты о чем-то сообщали, о чем-то умалчивали. Но то, о чем они умалчивали, Хару видел. Каждые выходные Мод на поезде отправлялась к матери, на нескольких

снимках она стояла в саду, курила сигарету, спиной к стоящему в траве манежу. Утром первого дня рождения Розы, когда Хару читал в кабинете, Сайоко принесла ему очередной конверт из Франции, поступавший каждый триместр. Там лежали фотографии грузовика у входа в парижский дом Мод, потом его же перед домом Паулы с единственной подписью из двух слов: «Она переехала».

Хару поднял глаза к горам. На снимках небеса Турени выглядели огромной, просто гигантской чашей, изогнутой над зеленой землей. Он подумал, что в Киото никогда не было ни свода, ни бесконечности, только туманы, поднимавшиеся вечерами вдоль горных склонов. Листья вишен и кленов на берегах Камо начали алеть, в тишине мелькали утренние бегуны, время и пространство распадались, жизнь Хару раскалывалась. Снимок показывал Мод, стоящую, скрестив руки, у веранды, но на самом деле не показывал никого. Всплыло воспоминание детства, пьеса театра но[15] в соседнем святилище, полная призраков и испуганных женщин на фоне ширм и горных сосен. Он помнил об этом как о сновидении, но

[15] Примечания: 15

Театр но — одна из форм классического японского драматического театра, существующая с XIV века.

позднее его не смогло вытеснить ни одно театральное представление, оно так и осталось в нем сумрачной страшной грезой, омывая его годы. Мод переехала к матери, как постригаются в монахини, отгородившись от мира и взирая на него глазами призрака, и Хару не сомневался, что она убьет себя, если он снова появится в ее жизни. По иронии судьбы дела у него еще никогда не шли так хорошо, и его угнетала мысль, что он преуспевает пропорционально тому, как усиливается смятение в сердце, и крупным торговцем он стал лишь потому, что потерпел поражение в намерении стать отцом. Жизнь, которая до сих пор таила лишь обещания побед, предстала под новым углом: его порвали, как папиросную бумагу, и кто-то — эта женщина — держал ее клочки. Трагедия более не принадлежала всему миру, она просочилась внутрь его самого, и он был обречен поститься. И тогда, раз уж он не желал принимать уравнение судьбы, но не мог решить его извне, он, подобно змее, сбросил старую кожу.

* * *

Он вступил в период перемен с той решимостью, которую вкладывал во все, что делал, и потому, вспомнив о своем сердце, вырванном у

гор, он обратил взгляд не в будущее, а в прошлое. И отправился в Такаяму.

В городе он навестил отца и брата, нашел первого усталым, а второго озабоченным. Они выпили саке и кратко обменялись новостями. Когда Хару собрался уходить, Наоя вышел следом за ним на улицу и, повернувшись спиной к лавке, сказал брату:

— Знаешь, он выживает из ума.

Хару сел в машину и двинулся вдоль цепи лавочек, торгующих саке, дыре во времени и пространстве, ведущей к духам древней Японии. Он думал: «Киото — легкие Японии, Такаяма — сердце, сердце простое и пылкое, укорененное в этих домах вне возраста, плывущих по волне времени». Он направился к родительскому дому, в четверти часа езды на машине от центра. В молодости отец каждый день спускался пешком с гор. Иногда он оставался ночевать в городе, над лавкой. Или же шагал под луной в ледяной ночи вдоль потока до самого дома на берегу. Посреди брода лежал большой камень; зимой из-под холодной воды виднелась только его покрытая инеем верхушка. Хару вырос, наблюдая, как снег падает и тает на этом скалистом выступе, что и зародило в нем любовь к материи и понимание

формы. Он часто думал, что меньше получил от отца, чем от реки, или, скорее, что близкие, сами того не ведая, послужили примером того, чего он для себя не хотел. В этом доме вкалывали изо всех сил, ели, спали, а с утра все начиналось по новой. Тяжкий труд уступал место не созерцанию, а лишь перерыву в тяжком труде. Времени хватало только на сырой материал, тайной структуры которого никто не чувствовал. А вот водный поток перед домом гласил: «Мир только и ждет, чтобы выявились его формы. Упорно работай, чтобы открыть невидимые двери».

По мере того как отдалялся его чужестранный ребенок, Хару стремился обрести новые корни в собственной культуре. Величайшая из невидимых дверей, та, что давала доступ к другим, носила имя «чай». Хару готов был шагать без устали при условии, что камни, мостящие его путь, будут омыты чистой водой. Жизнь виделась дорогой, орошенной ливнями, с подвижной прозрачностью над ней. В прохладе и вспышках света колыхалось пространство, где поклонялись красоте и верили в духов. И в Такаяме он знал, где и с кем войти в эту дверь. Он проехал вдоль реки, свернул на тропу под деревьями, припарковался на берегу и дальше пошел пешком. Слышался

шум потока и шелест ветра в соснах, пробивающиеся сквозь ветви лучи солнца подрагивали, как неровные линии витража. Возникла хижина с соломенной крышей, деревянной балюстрадой, огородом вдоль берега и разлитой атмосферой одиночества и силы. Стоял ноябрь, и на другом берегу листья молодого клена готовились к взлету, алые и легкие, новые и уже умирающие. Никого не было, и Хару пошел к реке, уселся на длинном балконе, нависавшем над грядками с тыквой и листьями сисо[16], и погрузился в созерцание стремнин. Какой-то шум вырвал его из грез, и вышедший из леса Дзиро присоединился к нему под навесом и жестом пригласил в дом. В городе старик держал антикварную лавку, где соседствовали барахло и сокровища. На своей горе он правил королевством скудости и благодати. В главной комнате он усадил гостя и приготовил ему чай. В Киото Хару принимал участие во множестве церемоний и пережил множество экстазов и множество разочарований. Иногда магия срабатывала, в иных случаях в холодной и формальной атмосфере приходилось вежливо скучать. Но любая такая церемония проводилась

[16] Примечания: 16
Сисо — перилла, травянистое масличное растение.

во славу цивилизации чая, присутствующие окунались в реку, которая знавала древних мастеров, воспринимали урок изящной строгости и утонченного смирения. Дзиро же, напротив, священнодействовал в хаосе лачуги, заваленной книгами, разнородными предметами и инструментами. Не было ни свитков на стенах, ни цветов в алькове. У входа громоздились коробки с пивом. Татами были старыми, слегка побитыми молью. Рядом, за раздвижной дверью, виднелся кухонный кавардак. Хотя здесь было чисто, все казалось устроенным как попало.

Однако дух здесь говорил с духом. Чугунный чайник на эмалированной подставке пришептывал над кучкой горящих углей. Вокруг Дзиро без всякого видимого порядка были расставлены принадлежности для чайной церемонии и сосуд с холодной водой, а он, сидя по-турецки, со смехом взбивал зеленую пудру.

— Что тебе еще нужно, кроме горной воды и фантазии? — сказал он однажды Хару. — Не понимаю я этих дорогостоящих, расписанных по нотам обрядов, совершаемых с похоронной физиономией.

Но если самой церемонией, ее правилами и ритуалами он практически пренебрегал, то во

всем, что он делал, мерцал путь чая. Он мерцал в безукоризненной опрятности утвари, в чистоте воды, в переливающихся тенях деревьев. Мерцал в замысле и скромности обстановки, в точных движениях человека с пылким сердцем. Это было ровное матовое мерцание, без вспышек, некое товарищество — воплощения чая жили и притягивали вас дружескими связями. Мир снаружи трепетал, комната не давала забывать о своем присутствии, «здесь и сейчас» переливалось, сверкая, и два друга жили в этот час вне времени.

Хару выпил первый густой чай, горькую пасту с привкусом овощей и леса.

— Что ты делаешь в городе? — спросил старик.

— Приехал повидать отца.

— О, — сказал Дзиро, — уж точно не для этого.

Он взял чашу Хару, добавил воды, взбил остатки пасты, прилипшие к стенкам.

— Как идут дела? — спросил он еще.

— Очень хорошо, — ответил Хару.

Дзиро поставил чашу рядом с ним на татами.

— Даже постыдно хорошо, — добавил Хару.

Старик засмеялся.

— Мы торговцы, — сказал он, — стыд — наша повседневность.

— Мне не стыдно зарабатывать деньги, — заметил удивленный Хару.

— Я говорю о необходимости нравиться, — уточнил Дзиро.

Хару отпил глоток второго легкого чая.

— Я не стремлюсь нравиться, — сказал он.

— Ты делаешь это инстинктивно, но делаешь, а в этом все равно пошлость.

Вдали каркнул ворон, и Хару на мгновение показалось, что поток разделил существование на две части. Солнце пробивалось сквозь листву и показывало ему два противоположных берега его жизни. На одном были женщины, саке, деловые ужины и вечеринки. На другом — произведения искусства, Кейсукэ и Томоо. В центре, в мистической зоне, где текла загадочная и воздушная родниковая вода, плыла Роза.

— Можешь рассказывать себе любые истории, какие заблагорассудится, — снова заговорил Дзиро. — В конце концов ты останешься наедине с ними и увидишь, утешают они тебя или заставляют страдать.

— Я думаю, что знаю, кто я, — сказал Хару.

— Тогда что ты здесь делаешь?

Хару собрался ответить «Навещаю старого учителя», но легкий ветерок тронул колоколь-

чик-фурин[17] у входа. Снаружи текла река, в соснах напевал ветер, путем чая он блуждал среди прекрасного безумства вещей. Странное чувство растеклось у него в груди. «Возможно ли, что старик прав? — спросил он себя. И, впервые в жизни: — Неужто я себя обманываю?» Дзиро прислонился к стене, смежив веки. «Что еще ищут в чае, если не невидимое?» — снова задался вопросом Хару. И опять у него мелькнула мысль, что эта женщина забрала что-то у него или, быть может, внедрила в него некое пространство, где он передвигается вслепую. Оба друга сидели в молчании, и Хару почувствовал свежесть, омывающую теперь его дух. Хотя в ней звучали отголоски и дальние зовы, именно свежесть пустоты даровала путь чая своим паломникам. Жизнь избавляется от всего наносного и, как в Синнё-до, предстает перед ним без прикрас. Он бродил по долине звезд и надеялся, что на этот раз сумеет их услышать. «Несут ли они слова моих предков? Или моих братьев? Или моих судей?» — сказал себе он. И, взволнованный этой необычной триадой, почувствовал, как рождает-

[17] Примечания: 17

Фурин — традиционный японский колокольчик из металла или стекла, с листом бумаги на язычке; на листе иногда пишут стихотворный текст.

ся прозрение.

Дзиро открыл глаза:

— Человек, который думает, будто знает себя, опасен.

Хару поднялся.

— Кстати, — добавил старик, — с твоим отцом не все в порядке. — Поскольку Хару не отвечал, он продолжил: — Ты отворачиваешься от истины? Тебя ждет скорбь.

* * *

Воодушевившись полученной отповедью и твердо вознамерившись слушать звезды, Хару начал с того следа, который вел к предкам: он пошел искать истину в дом отца. Там он нашел мать.

Вернее, нашел молчание и одиночество, а погруженная в них женщина склонилась над кухонным столом и шинковала мацутакэ[18]. В наступающих сумерках он различил аромат грибов. Хару щелкнул выключателем, мать подняла на него удивленные глаза, потом радостно подошла поздороваться — молчание и одиночество, казалось, переместились вместе с ней. У него на

[18] Примечания: 18

Мацутакэ — «сосновый гриб» *(яп.)* того же семейства, что опенок; в азиатской кухне ценится за сосновый аромат и изысканный вкус.

мгновение возникло ощущение знакомой пьесы, в которой раз за разом разыгрывается одна и та же сцена — она ждет в полумраке, смотрит с удивлением, потом радостно идет навстречу, — но мать уже усаживала его, подавала чай, расспрашивала о здоровье, о делах, о жизни в Киото. Когда она замолчала, он указал на грибы.

— Наоя собрал их этим утром, — сказала она.

— На рынке их продают на вес золота, — заметил он.

Она засмеялась:

— Даже бедняки богаты. — И с непроницаемым выражением лица добавила: — Я их готовлю на ужин, твой отец и брат скоро вернутся.

— Наоя ужинает здесь? — удивился он.

Она кивнула, но больше ничего не сказала. Насыпала в чугунную кастрюлю рис, добавила саке, мирин[19], соевый соус, даси[20] и посыпанные солью грибы. Все перемешала и, по-прежнему погруженная в молчание, отточенным движением накрыла кастрюлю белым полотном. Он

---

[19] Примечания: 19

Мирин — разновидность рисового вина с нежно-сладким вкусом, используется как соус и маринад.

[20] Примечания: 20

Даси — японский бульон, на основе которого в японской кухне создают супы, соусы и т. д.

посмотрел в окно и в свете уходящего дня увидел силуэты темных сосен на фоне, словно залитом разведенной тушью. Поток катился по склону его детства, унося голоса предков и рождая в нем противоречивое желание и близости, и бегства. Пока он дрейфовал в этой круговерти теней, появились отец с братом, а шлейфом за ними запах дрожжей, как в пивной, — запах всего его детства. Они вымыли руки, и Хару показалось, что у отца ушло на это необычно много времени. Мать уже поставила кастрюлю на огонь и подала саке, пласты времени разъединялись, каждый жест и каждое слово казались отделенными от остальных и будто окутанными оболочкой печали. Несвязный разговор, силуэт отца перед раковиной и прохлада алкоголя никак не могли сойтись вместе.

— Почему ты всегда приезжаешь весной? — вдруг спросил отец.

— Я приезжаю в любое время года, — удивленно ответил он.

— Ведь лучшее время — осень, — продолжил отец, не слыша его.

Хару хотел заговорить, но Наоя незаметно сделал ему знак.

— Да, осень, — настойчиво повторил отец. — В

основном хорошие вещи случаются осенью.

На лице матери застыла незнакомая маска, и Хару снова подумал о виденной в детстве пьесе театра но с ее жуткими призраками, декорацией гор и страхом. «Неужели в этом урок моих предков? — спросил он себя. — Еще совсем не старый отец уже выживает из ума?» Мать накрыла на стол, принесла рис с грибами и с непривычной медлительностью разложила по тарелкам. Снаружи опускалась темнота и вместе с ней нечто вроде необычной траурной дымки, которая затуманивала восприятие Хару. Время от времени отец покачивал головой, бормотал что-то самому себе, и Хару чувствовал, как погружается во мрак. Он подумал, что должен вырваться из этой перенаселенной призраками сцены, но в это мгновение мать улыбнулась ему, и он вспомнил одну из историй Кейсукэ. Незадолго до конца эпохи Хэйан монах делится со своей матерью мечтой совершить паломничество в Китай. Путешествие к горе Пяти Террас, священному месту буддизма, должно продлиться три года. Матери уже восемьдесят, это последние судороги уходящей эры, и она знает, что следующей ей уже не увидеть. Однако от потрясения она замолкает, и сын уходит. Несколько месяцев протекают в неуверенности

и тревоге, пока однажды утром он не объявляет о скором отъезде. Снова боль мешает старой женщине заговорить, снова сын уходит, и, пока она ждет часа прощанья, сын пускается в путь, так и не зайдя больше ее повидать. Она не осуждает его, корит себя за молчание, плачет горючими слезами, пишет в дневнике о своей печали, вставляя чудесные стихи. Наконец, она хочет умереть.

— Я не улавливаю смысла, — сказал Хару, когда история дошла до этого места.

— Ты не видишь величия в том, чтобы любить неблагодарного? — спросил Кейсукэ.

Хару выпил саке и посмотрел на отца. «Неужели моя страсть к искусству исходит из бессилия сердца?» — спросил он себя, смущенный предположением, что искусство, возможно, бесплотная часть любви, та часть, которая не знает ни призраков, ни уныния. Еще одна лукавая и неприятная мысль прокладывала путь в его сознании. Не была ли эта бесплотность признаком черствости его души? Неужели он просто сбежал от единения с близкими, от их страданий и судьбы? И тогда дымка, затуманившая его восприятие, рассеялась, и он увидел сцену другими глазами. Тьма отступила, освободив место светлому ореолу, в котором жесты и взгляды сливались во взаимном тепле.

Комната пахла перегноем, холодной землей, и в этом запахе подлеска ужинала семья. Хару задал брату пару вопросов о том, как идет торговля саке, и Наоя, поначалу сдержанный, отвечал ему все раскованнее. Отец присоединился к разговору без единой фальшивой ноты, и они потягивали поданное после ужина саке, непринужденно болтая. В какой-то момент Хару рассказал, как перевозили пьяного в хлам Кейсукэ на тачке, позаимствованной с соседской стройки, и все расхохотались. И снова мир раскололся — оберегающая необъятность гор и деревьев снаружи, мягкая, печальная, глубокая и недостижимая ни для кого, кроме родных, внутри. И наконец, *вовне*, недвижные и тайные, бдели звезды.

Попрощавшись с родителями и братом, стоявшими у входа под маленьким козырьком, Хару сел в машину. В зеркало заднего вида он скорее угадал, чем увидел, как мать помахала рукой, и в ответ поднял свою. Двадцать минут отделяли его от постоялого двора, двадцать минут, которые, он чувствовал, определят его отцовскую судьбу. «Двадцать минут, — подумал он, — и вся мощь саке и чая». Он проехал мимо маленького святилища, где когда-то увидел спектакль театра но, и воспоминания о призраках больше его не

пугали. Ему сопутствовала мысль об отце, а одиночеству и смятению препятствовало незримое присутствие доброжелательных предков. Он вновь вспомнил об отце времен своего детства, в задней комнате их лавки, где тот выпивал и беседовал с соседями-торговцами. Вокруг него словно расстилался шелк, и Хару видел, как с течением лет сплетались и расплетались его нити. Но сами нити, составляющие основу ткани, постоянно перестраивались в зависимости от того, что несли эти годы, — рождение сыновей, симпатии местных жителей, мощь потока, гора, несущая радость, — да, все это и многое другое слагались в карту территории, где места и живые существа соседствовали во взаимном уважении. Хару развернулся, снова подъехал к святилищу, вышел из машины и, пройдя под оранжевым портиком, поднялся по аллее, ведущей к алтарю. В воздухе витал запах смолы и коры; он застыл неподвижно, вглядываясь в сумерки, пытаясь уловить чье-то присутствие, и вскоре ему показалось, что он различает мать, приближающуюся мелкими почтительными шажками. Он снова увидел, как она держит его за руку, учит уми-

ротворять ками[21] рисом и саке, смеется, когда он промахивается, бросая монетку. Он вернулся кториям[22], опять прошел под порталом, поклонился и продолжил путь к алтарю. Оставил монету в кружке для пожертвований и ударил в колокол: ночь приняла звук. Он дважды хлопнул в ладоши и подождал: мир завибрировал. Где-то раздался голос Кейсукэ: «Люди, люди, люди». «Конечно, — подумал Хару, — есть только люди, но следовало прийти в святилище, чтобы их услышать и увидеть». Он вспомнил отца за столом, что-то бормочущего себе под нос. «Моя дочь родилась осенью, в сезон хороших вещей!» — внезапно сказал он себе.

Снова выехав на дорогу, ведущую к постоялому двору, он, видя, как мелькают сосны, нацеленные, словно копья, в благодушную снисходительность туч, почувствовал, как его охватывают нежность и одиночество. Какой бы эпизод из детства ни вспоминался, он был окутан лаской, но лишен близости. «Не поэтому ли я уехал?» — подумал он.

---

[21] Примечания: 21

Ками — в синтоизме духовная сущность, бог.

[22] Примечания: 22

Тории — ритуальные П-образные ворота без створок в синтоистском святилище, два столба с двумя перекладинами, символ синтоизма и вообще Японии.

И снова перед ним предстала вся его жизнь. Дочь стала плотью от плоти его любви к искусству, его реальным воплощением и смыслом жизни, искуплением изначальных разочарований и предательства. Своими осенними лучами она осветила его зимнее сердце, и, если ему суждено любить ее в молчании, он сумеет это выдержать…

— Даже бедняки богаты, — произнес он вслух и рассмеялся.

* * *

До Какурэдзато[23] он добрался около полуночи, но предупредил о позднем приезде. Его тепло приняли, усадили в центре большого зала перед горящим очагом, принесли нагретую салфетку, саке и осенние мандзю[24]. Глинобитный пол, высокие деревянные стропила, бумажные ширмы перед окнами, каллиграфические свитки и глиняные изделия в альковах были такими, какими он увидел их когда-то. Он немного пого-

[23] Примечания: 23

Какурэдзато («Скрытые деревни») — деревни, где проживают и обучаются ниндзя.

[24] Примечания: 24

Мандзю — традиционное японское кондитерское изделие, обычно пирожок из пшеничной, гречишной или рисовой муки со сладкой начинкой.

ворил с Томоко, дочерью хозяина гостиницы, с которой ходил в школу. Она спросила, как идут дела, и рассказала об общих знакомых. Позади нее над букетом из кленовых листьев висел замкнутый круг, выписанный черной тушью. Хару предпочитал открытые энсо[25], но в этот вечер замкнутый круг ему понравился, он спросил себя, что бы он сказал о нем Розе, и так разволновался, что перестал слушать молодую женщину. Будущее озарялось. На смену сцене, где толпились призраки, пришли разговоры живущих, он не мог увидеть дочь, но мог говорить с ней и, как служитель духа, подумал: «Дух донесет до нее мои слова». Он вгляделся в энсо на квадрате матовой бумаги и осознал, что Томоко замолкла.

— Прости, — сказал он, — я устал.

Она улыбнулась ему.

— Здесь ничего не меняется, — сказала она. — А вот у тебя в Киото наверняка увлекательная жизнь. — И добавила, после того как он рассеянно кивнул: — Знаешь, у твоего отца проблемы.

Он опустил голову, не зная, что ответить.

— Он молод, — продолжила Томоко, — печаль

---

[25] Примечания: 25

Энсо — дзенский каллиграфический символ, круг; считается, что выражает собой «истинную таковость», «изначальную природу Будды», «облик реальности» и т. п.

продлится долго.

— Он не кажется несчастным, — сказал Хару.

— Печаль — это ваш удел, — мягко проговорила Томоко. — Печаль — удел тех, кто любит отсутствующих.

Он отпил глоток саке.

— Это мне знакомо, — сказал он, — и знакомо слишком хорошо.

Она мило засмеялась.

— Женщина? — спросила она.

Он засмеялся в ответ. Она улыбнулась и встала.

— Мы оставили для тебя ванную открытой, — сказала она. — Пора тебе отдохнуть.

Он поблагодарил ее и пошел в свою комнату. Там надел гостиничную юкату[26], прежде чем выйти в полумрак коридоров и воссоединиться с источником горячей воды. Темный высокий остов старого дома раскинулся, как паутина, над всеми проходами. Под балками что-то лопотало, и, погружаясь в обжигающую воду, он еще более отчетливо различал эти шумы. Несмотря на ночь, просторное помещение оставалось местом света, дерево переливалось отблесками луны,

[26] Примечания: 26

Юката — традиционная летняя одежда Японии, легкая и удобная, по покрою похожая на кимоно.

вода сияла чистотой. Большая ванна из дерева хиноки, отполированная долгим использованием, располагалась вдоль оконного проема без видимых рам, стоящего, словно прозрачный занавес, перед картиной речных перекатов. На первом плане виднелись стволы кипарисов, а в их изножье — энкиантусы, чьи красные листья в сумерках отливали ртутью. Хару знал, что все это красиво, но ничего не чувствовал, поглощенный нарастающими звуками, не исходившими ни из постоялого двора, ни от потока — никогда прежде он их не слышал, однако они казались знакомыми. Он, не двигаясь, отдался на волю воды, на волю течения и камней, звезд и деревьев, Японии и заснувших гор. Протекли долгие мгновения, потом туча затмила луну, хлынул ливень, и воды ванны, стремнин и неба смешались воедино.

Он погрузился в ночь. Погрузился с благодарностью, двинулся к невидимому, поклонился так, как никогда еще не кланялся. В прозрачности поросших папоротником берегов, на сцене театра теней, освещенного луной, проступала основа ткани его жизни. Он услышал голос матери, говорившей: «Ты моешься, как ворон», и крики воронов из Киото смешались с отрывочными воспоминаниями прошлого. Он снова увидел

себя вместе с матерью в сэнто: она помогает ему помыться под кранами на стене напротив бассейна. «Только вороны моются быстро», — настойчиво повторяет она, а еще он вспоминает, как однажды вечером она рассказала ему легенду о селении, спрятанном в глубине реки, которое и дало название этому постоялому двору: селение являлось глазам людей только в ночь солнцестояний, прежде чем ранним утром вернуться в свой саван из бурунов и скал. «Такова и канва моей жизни, — сказал себе Хару, — но часы прозорливости обычно нисходят на меня в ноябре или в мае». Ночь набирала силу, а вместе с ней уроки матери, мудрость долгих омовений, медлительность поступи. Ночь говорила: «Ты дитя гор, уроженец Синнё-до, искатель странного, одинокий пилигрим». А еще ночь говорила: «Преклонись». Отвесный дождь превратил стену сосен на берегу в тучу, пришедшую из глубины небес. Листок пролетел перед стеклом, и Хару подумал, что небо увядает. Дождь прекратился, и снова появились звезды.

Тогда он увидел лисицу. Словно шагая по воде, она пересекала поток. На середине брода она остановилась, повернулась к Хару, потом пошла дальше, добралась до берега и исчезла под се-

нью сосен. Начало ночи зазвучало громче. Хару глубже погрузился в ванну, опустил лицо в воду, долго медитировал и в свою комнату вернулся лишь на рассвете. Ему приготовили футон, и, по традиции гостиницы, на футоне лежало стихотворение. Хару уселся напротив выходящего на реку огромного окна без рамы, вделанного прямо в стену. Выстроившись слитно, как единый человек, перед верхушками деревьев, бесплотные, но осязаемые, стояли его отец, мать, брат и все здешние, члены братства гор. «Призвала ли их лисица?» — спросил он себя и вновь увидел Мод в ванне, как в первый вечер. С фотографической точностью память восстановила ее лицо в тот момент, когда он досказывал историю про даму и лисицу из эпохи Хэйан. «Что я ей говорил? — спросил он себя, изумляясь открывшейся в ней печали, и еще ошеломленнее: — Как я мог такое упустить?..» Перед ним белел поток, и скрытое в нем селение, и силуэты кипарисов — все казалось видимым и невидимым, все несло в себе неслышное послание. Он лег, вслух прочел стихотворение.

осень в горах —
столько звезд

столько далеких предков

Перед его глазами образовался круг, который раскрывался и замыкался в едином текучем движении. В нескончаемой осени сменяли и обгоняли друг друга горы, звезды и незнакомые предки. Он вспомнил родителей и брата, сидящих за столом в старом доме, окутанных ореолом нежности и страха. Он снова увидел ребенка в коридорах лавки саке, опьяневшего от дрожжей, гордящегося крепостью отца, потом молодого человека, с безразличием спешащего покинуть этот мир тяжкого труда и молчания. «Я оторвал себя от гор, — сказал себе он, — я хотел бежать от одиночества, но унес его с собой. — В вечернем свете, вглядываясь в черты родных, он думал: — Отныне я далеко, но эта нить не должна порваться». И тогда, продолжая медитацию, начатую в ночь в Такаяме, он наконец понял звуки этих мест.

* * *

Так и не заснув, он направился в общий зал и нашел там Акиё, мать Томоко, которая подала ему чай и уселась рядом за стол, чтобы поддержать беседу. На ней было осеннее вышитое кимоно, среди прочих цветов — камелии и колокольчики

в форме маленьких звездочек. Среди других блюд, поданных на завтрак, был рис с мацутакэ.

— Я уже ел их на ужине у матери, но они не могут надоесть, — сказал он.

— Наоя продал их нам вчера, — засмеялась она. — Он лучший грибник во всем кантоне.

Они поговорили обо всем и ни о чем, потом он поблагодарил ее за стихотворение.

— Это одной современной поэтессы, — сказала Акиё. — Думаю, она все еще жива. — Заметив его удивление, добавила: — Можно быть современным и глубоким.

— В этом мое ремесло, — сказал он.

Она улыбнулась и подлила ему чая.

— Перед самым восходом я видел лисицу, которая шла через брод, — добавил он.

— Через брод? — повторила она. — Но в это время года никакого брода нет.

На вокзале он сдал машину служащему, чью семью знал с самого детства, и приветливо хлопнул того по плечу. «Как я мог забыть родных?» — спросил он себя. На перроне пошел слабый снег, и, слизывая хлопья, в которых, казалось, сконцентрировался вкус Такаямы, он почувствовал еще большее сожаление от того, что покидает горы. В поезде он заснул прерывистым сном, в котором

раз за разом всплывали слова, произнесенные им в ванне в момент, когда загрустила Мод. В Киото он взял такси до дома, где нашел Сайоко, склонившуюся над гроссбухом; она посмотрела на него, не сказав ни слова. Но по тому, как она опустила очки на нос, он понял, что придется с ней поговорить.

— В Такаяме шел снег, — сказал он.

Она строго посмотрела на него.

— Мы ели мацутакэ, — добавил он.

Она смотрела не отрываясь, и он смирился:

— С отцом не все в порядке.

Она прищурилась.

— Голова? — спросила она.

Он кивнул, привычный к ее поразительной интуиции. У нее вырвался сочувственный жест — ладонь легла на левую ключицу.

— Но с Розой все хорошо? — спросила она.

Удивленный, он снова кивнул, хотя они не упоминали о Розе весь год с ее рождения. Сайоко удалилась маленькими удовлетворенными шажками на кухню, вернулась с чаем, села напротив и продолжила свои подсчеты. Наконец, когда он готов был выйти из дома, она сказала, что Кейсукэ у Томоо.

Единственное, что они сказали друг другу, —

имена своих мертвых; эти слова в первый вечер вызвали в глазах Мод такую грусть. А он услышал их от брата, и именно братья ждали его на пути, открытом ему звездами. В Такаяме он пил со своими предками, в Киото он выпьет с Кейсукэ, и, как и следовало ожидать, Сайоко указала дорогу: он отправится к Томоо. Хару пошел пешком вдоль Камо, срезав путь через университетский кампус, миновал святилище Ёсиды[27] и взобрался на холм, носивший то же имя. Было тепло, но в воздухе чувствовалось предвестие снега. На вершине, выйдя из-под деревьев, он увидел ворона и знакомого священника, который с ним разговаривал. Ворон, черный силуэт на оранжевом фоне, восседал на ториях, священник, облаченный в черное, выделялся на фоне белоснежной стены. Чуть выше располагалось небольшое святилище братьев Такэнака[28], несколько строений, деревянный алтарь, гранитный фонарь, могилы и каменные лисицы, утопающие в зелени. Оттуда шел спуск

[27] Примечания: 27

Ёсида Сёин (1830–1859) — японский политик, философ, педагог и стратег середины XIX века (конца периода Эдо), один из теоретиков и духовных проводников реставрации Мэйдзи; почитается как синтоистское божество.

[28] Примечания: 28

Такэнака — имеется в виду семья Такэнака, клан самураев и военных стратегов, из которых самый известный — Такэнака Сигэхару (1544–1579).

с холма по аллее, над которой возвышались два десятка порталов вперемежку с огромными вишневыми деревьями, и отсюда тоже открывался один из самых прекрасных видов на соседний холм Синнё-до и на восточные горы. Вдали прозвучал гонг Хонэн-ина, и преображенное время стало присутствием. Само место превратилось в дыхание и покой, по высоким деревьям прошло дуновение, крики птиц обратились в шепот. Явно безумный священник разговаривал с вороном из плоти и лисицами из камня на ведомом только им языке, на котором он тем не менее беседовал и со своей паствой. Но он был популярен, и никто и помыслить не мог от него избавиться. Хару, проходя мимо, поприветствовал священника, тот, погруженный в свой разговор, поклонился и послал улыбку, но, когда Хару двинулся дальше, окликнул его.

— Что это за шум тянется за тобой? — спросил он.

— Какой шум? — не понял Хару.

Ворон каркнул.

— Я не знаю, — ответил священник, — но мы его слышим.

Они поговорили о том, о другом, но вскоре у Хару возникло ощущение, что он слышит слова и

звуки мира, как если бы они проникали *извне*. Он был один на неизвестной территории, по которой разносился присущий ей ропот, и лишь где-то рядом реальные вещи жили обычной жизнью. Он утерял нить диалога со старым священником, задрал нос к темнеющему небу — небу снега; «но я не один», — подумал он. Хару засмеялся и, перебив человека веры, сказал ему:

— Тот шум, ты спрашивал. Знаешь, это мои предки.

— А! — сказал тот. — Я так и думал! — И, повернувшись к ворону: — Это его предки.

После чего любезно перевел свои слова на язык воронов. Хару посмотрел на вход в Такэнака, по обеим сторонам которого стояли две лисицы, изваянные из белого камня, и, пораженный тем, что находится у входа в святилище, посвященное богине, которая принимает этот облик, сказал священнику:

— В Такаяме я видел лисицу, которая шла по воде.

— В Такаяме? — спросил священник.

— Точнее, в Какурэдзато, — сказал Хару.

— Какурэдзато? — пробормотал тот. — Я ничего не понимаю в этих легендах о скрытом селении.

— А лисица и не была скрытой, — заметил

Хару.

— Разумеется, — ответил священник. — Невидимое никогда не скрывается.

Хару распрощался, спустился с холма Ёсиды и начал взбираться на холм Синнё-до. Когда он добрался до храма, пошел снег, падавший мелкими безмятежными хлопьями. Каменные фонари поблескивали в свете уходящего дня, над крышами несли свой дозор горы, и в душе всплыли стихи ныне живущей поэтессы. Он подумал о дочери и увидел ее в ореоле красок этого часа. Оранжевые цвета Инари[29] и лисья шкура перекликались с рыжим пламенем ее волос. Над ней с черного неба склонялись мертвецы эпохи Хэйан, предки с гор, белые звезды в осенней ночи. А когда он обогнул храм и ступил на аллею под сводом пламенеющих кленов, то вновь вспомнил лицо Мод в ванне и их первый вечер. «Мои предки живы, а вот ее мертвы, — подумал он. — Я не знал, что покойники тоже бывают мертвыми или живыми». Он сделал еще несколько шагов и остановился у вершины лестницы, которая вела к дому друга, откуда доносились звуки фортепиано и веселые

[29] Примечания: 29

Инари — синтоистское божество изобилия, риса, лис, промышленности, житейского успеха, одно из основных божеств синтоизма. Роль посланников Инари выполняют лисы — кицунэ.

голоса. Услышал тявканье Сакуры, маленькой собачки Томоо, раздались джазовые пассажи, потом взрыв смеха.

Он понял, что эта одинокая минута на пороге гостеприимного дома — прообраз того, чем станет отныне его жизнь. С этого вечера он будет пребывать между двумя мирами, между мертвыми и живыми, между ночью и светом жилищ, между прошлым и будущим, и там будет говорить с дочерью. Он подумал, что мертвые способны давать радость или отчаяние, и он должен сделать так, чтобы Роза услышала голос своих предков с гор — а потом на это наложилась другая мысль, и он, удивленный и взволнованный, сказал себе: «Только благодаря ей я слышу этот голос». В то же мгновение Кейсукэ прокричал: «Еще саке!» — и Хару спустился по ступеням, наслаждаясь последними глотками горько-сладкого одиночества. Наступал вечер со своим эскортом невидимых сил, день умирал, унося с собой свои тайные недуги; он обнимет дочь мысленно, как прижал бы ее к себе. И Хару присоединился к сообществу братьев.

* * *

Следует признать, что вышеупомянутые братья

вид имели не слишком презентабельный. Насколько Хару мог судить по открывшейся сцене, они пили, пели, требовали еще саке, а когда все это заканчивалось, начинали по новой. На данный момент они решили немного перекусить, не забывая о выпивке. Молодой музыкант за роялем играл «Bemsha Swing»[30]. На рояле стояли фотографии трех идолов Томоо: Кадзуо Оно[31], Телониуса Монка и Федерико Феллини. Рядом с роялем лежал красавец Исао, единственная любовь Томоо. Вокруг завсегдатаи обоих полов что-то жевали и пили, весело переговариваясь.

Хару был встречен радостными возгласами, ему тут же поднесли выпить. Кейсукэ бросил на него насмешливый взгляд, Сакура подобралась поближе и стала лизать ему пальцы, и вечеринка весело покатилась дальше. Сначала послушали джаз, потом Томоо и Исао показали пародию на театр но, продемонстрировав отличную форму. Они выложились без остатка, издавая горловые

---

[30] Примечания: 30

«Bemsha Swing» — композиция джазового композитора и пианиста, основоположника бибопа Телониуса Монка и Дензела Беста, записанная Монком на его альбоме «Thelonious Monk Trio» (1952).

[31] Примечания: 31

Кадзуо Оно (1906–2010) — японский танцовщик и хореограф; после Второй мировой войны вместе с Тацуми Хидзикатой создал японский авангардный танцевальный стиль буто.

крики и утрированно жестикулируя, все много смеялись, болтали, а когда наступила ночь, молодая певица исполнила старинные песни Амами[32]. В окно было видно, как под зажегшимися в пять часов фонарями кружатся ленивые хлопья, и все смотрели и слушали, прислонившись к стенам. Уличный свет очерчивал ветви плакучей вишни, молодая женщина пела «в поисках новых земель», и лица становились серьезны. «Несмотря на все наши блуждания, к серьезным вещам мы относимся серьезно», — подумал Хару и почувствовал, что с него спала тяжесть, природы которой он не понимал. «Сотней плотников…» — продолжалась песня, и он чувствовал, что деревянный дом вокруг него обращается в большой парусник. Наконец все зааплодировали певице, Хару присел рядом с Кейсукэ и заговорил о своей поездке в Такаяму. Рассказал об отце, о мацутакэ, о Дзиро, о Какурэдзато и о лисице, переходящей поток по призрачному броду. Под конец он во всех подробностях передал свою беседу со священником, и Кейсукэ, все молча выслушавший — не забывая, однако, прикладываться к саке, — захохотал над последней фразой:

---

[32] Примечания: 32

Речь идет о песнях в традициях островов Амами на юго-западе Японии, набравших популярность в нулевые годы.

— Иногда священники говорят неглупые вещи!

— Эта фраза вертится у меня в голове, — сказал Хару. — Что из скрытого мне следовало видеть?

— Этот почтенный человек имел в виду совсем другое, — сказал Кейсукэ. И, задумчиво разглядывая друга, добавил: — Ты рассказал мне не все.

В этот момент один из молодых людей встал и под поощрительные восклицания присутствующих вышел из комнаты.

— Я слушаю звезды, — сказал Хару. — Может, лисица была их посланницей?

Кейсукэ опять прыснул.

— Это еще что за ахинея? — спросил он. — Ты не способен услышать собственный голос — хотелось бы мне посмотреть, как ты умудряешься слышать звезды, не говоря уже про всю эту хрень с Инари.

Хару улыбнулся.

— Люди, люди, люди, — сказал он.

— Именно, — сказал Кейсукэ. — Только людям есть дело до людей; можешь мне поверить, что и лисицам, и богиням на них плевать.

Молодой артист вернулся, облаченный в длинный красный парик, доходивший ему до щиколоток сзади и до бедер спереди. Он застыл

неподвижно на середине комнаты, все ему зааплодировали (и потребовали еще саке).

— Лев! Лев! — закричал Исао.

Томоо сходил за маленькой ширмой, украшенной красными пионами, поставил ее рядом с актером, и танец начался. Хару, не самый большой поклонник кабуки[33], от души смеялся над постукиванием ноги и покачиванием бедрами льва, возбужденного зрелищем пионов, порхающих прямо перед его ноздрями, — редкая пьеса в этом жанре, которая смогла его позабавить. Комизма добавляла Сакура, вертевшаяся вокруг артиста, тявкая и ворча, и под конец Кейсукэ шепнул Хару:

— Если он прекратит задираться в барах, то станет великим актером.

И вечер продолжился с еще более обильными возлияниями и смехом. Кейсукэ и Хару разговаривали между собой, падал снег, пряча звезды и накрывая город. Уже некоторое время Хару испытывал, как в Такаяме, чувство, будто перед его взором разворачивается тонкая вуаль. «Неясный ропот исчез, но вуаль вернулась», — недоуменно подумал он и замолчал, пока остальные болтали

---

[33] Примечания: 33

Кабуки — один из видов традиционного, глубоко символического японского театра, сочетающий музыку, танец, пение и драму.

вокруг. Молодой пианист, пьяный в дым, подбирал ноты «My One and Only Love»[34], Исао подавал гостям рис с сушеными мелкими рыбками, он протянул чашу Томоо и послал ему невыразимую улыбку, исполненную бесплотной тайной близости. Хару посмотрел на двух мужчин. До этого его представление об Исао исчерпывалось молодостью и красотой этого последнего, но нынче вечером Хару просто видел его *здесь*, воплощением и сущностью кружения нежности и невидимых признаний, — все невидимо и все прямо перед нами, ничто не скрыто для того, кто пожелает видеть. Чеканный профиль Исао, его медлительные движения и серые глаза выражали не красоту, а любовь — любовь вне границ, вне семьи, загадочную и безоглядную. Кейсукэ задал Хару какой-то вопрос, тот не услышал, закрыл глаза, подумал о дочери, понял, что вуаль была завесой его безразличия и отстранения. И тогда снова возник ропот предков, а вместе с ним и отчетливо — лицо Розы; он осознал, что Кейсукэ

[34] Примечания: 34

«My One and Only Love» («Моя единственная любовь», 1953) — популярная баллада, джазовый стандарт Гая Вуда на стихи Роберта Меллина, получивший известность в исполнении Фрэнка Синатры (1953), а также Эллы Фицджеральд (1955), Генри Манчини (1959), Дина Мартина (1962), Джона Колтрейна и Джонни Хартмана (1963), Оскара Питерсона (1964) и т. д.

продолжает говорить с ним, и вернулся в шум комнаты, пока поэт повторял:

— Ты мне рассказал не все.

Хару не ответил, погрузившись в медитацию. Все вокруг стало снегом, черным небом, звездами. Здесь он был дома. Он выбрал этих мужчин и этих женщин, этих артистов и коммерсантов, этих веселых служителей духа. Он вгляделся в каждую и каждого, представил, что знакомит их с Розой, вообразил, какие счастливые годы ждали бы его, имей он возможность общаться с дочерью. Засмеялся, когда Кейсукэ с трудом поднялся, запутался в парике льва и рухнул на ширму с пионами. Послышались восклицания и аплодисменты, вскоре перекрытые храпом горшечника. Хару поднял свою чашу, глядя на Томоо, и Томоо улыбнулся ему. Внезапный порыв ветра закружил хлопья, и, охваченный смешанным чувством пустоты и тепла, Хару улыбнулся Томоо в ответ, улыбнулся отцу и матери, Наоя, лисице, пересекающей поток, своим предкам, звездам и манам Синнё-до, духам Японии и своим братьям-плотникам. Наконец, окинув взглядом компанию друзей, он улыбнулся далекой дочери, которая соединяла разрозненные души.

* * *

Особенность домов Томоо и Хару, чьи двери, наперекор японским обычаям, были всегда распахнуты для гостей, заключалась еще и в том, что там принимали наравне и мужчин, и женщин. Здесь не устраивались отдельные мужские вечеринки, и женщины участвовали как в разговорах, так и в пирушках. В основном тут собирались японские артисты, но иногда можно было встретить и иностранцев. Пресс-атташе обращались к Томоо, чтобы предупредить, что мадам имярек из Америки или из Германии приезжает дать концерт или конференцию в Киото, и Томоо организовывал вечеринку для мадам имярек из Америки или из Германии. Когда означенная мадам становилась своей, нередко случалось, что Томоо предоставлял ей еще и крышу над головой, она умирала от холода на своем спартанском футоне, но не желала ничего другого, кроме как оставаться здесь. На рассвете Исао приносил ей крепкий кофе и вел на высокие ступени Куродани посмотреть на восход солнца над городом. У их ног шумел храмовый центр, на горизонте вырисовывались горные хребты, вокруг трепетали могилы неизвестной цивилизации. Мадам

имярек мысленно падала на колени, брала Исао за руку и, стуча зубами, возвращалась в дом-парусник на крыльях несказанной радости.

В эту ночь на холме Синнё-до присутствовала французская пианистка по имени Эммануэль Ревер. Она приходила к Томоо уже третий раз, но Хару по разным причинам встретился с ней впервые. Он увидел ее в комнате, нашел красивой и почувствовал, что она станет частью пазла его жизни. На взгляд он бы дал ей лет сорок, но в отношении западных женщин он никогда не бывал уверен, что правильно определил возраст. Темноволосая, смуглокожая, с длинным, вытянутым телом, она напоминала пейзаж, меняющийся в зависимости от освещения и отбрасывающий неровные тени. Исао спросил ее, не устала ли она после путешествия и не желает ли удалиться в свою комнату, — нет, она не желала и была счастлива оказаться в компании.

— Мне немного одиноко с тех пор, как я приехала сюда, — сказала она.

Томоо подвел ее к Хару, единственному, кто, не считая его самого, свободно говорил по-английски. У нее был отрывистый смех, а манера разговора — живая и приятная, как она сама. Они немного посмеялись над холодом в доме и

ледяными рассветами Исао, и она сказала:

— Но у меня никогда еще не бывало чувства, будто я в самом сердце своей жизни. — Подумав, она поправилась: — В самом сердце *просто* жизни.

Чуть позже она указала на стоящую на рояле фотографию Кадзуо Оно, мастера танца буто.

— Я его видела, когда он выступал в Токио, — сказала она. — Я ничего не поняла, но потом долго плакала. Я была одна в гостиничном номере, рыдала в кровати и не могла остановиться.

Томоо улыбнулся ей:

— Буто — это мерило нашей сумеречной стороны.

Она на мгновение задумалась над его словами.

— Понимаю…

Потом она встала, подошла к роялю, выбрала ноты и заиграла. Хару присел рядом, любуясь красивым профилем, но не испытывая желания, счастливый одним ее присутствием, и к нему вернулось ощущение, возникшее в самом начале и затерявшееся в ходе разговора: в этой женщине гнездилась печаль, которую сейчас обнажала игра. Они разговаривали урывками между двумя фортепианными пьесами, и только намного позже он глянул на часы: было уже три. На середине

пассажа распростертый на своей ширме Кейсукэ всхрапнул, и Эммануэль засмеялась.

— В последний раз он был разговорчивее, — сказала она.

— Кейсукэ великий рассказчик, — заметил Хару. — Думаю, он рассказывает свои истории даже во сне.

— Не хотите прогуляться по снегу перед уходом? — спросила она вдруг, ласково глянув на него.

— С удовольствием, — сказал он, — но разве вы не устали?

— Устала, — ответила она, — но я не высовывала нос наружу с самого приезда в Японию.

Они оделись и вышли. Снег прекратился. Они поднялись по лестнице, прошли под кленами, обогнули храм сзади и оказались в тихом дворе. Небо очищалось, под вновь обретенными звездами влажный и мягкий воздух пропитывался холодом, на аллеях лежал свежевыпавший снег. Верхушка большой пагоды светилась в темноте скатами побелевших крыш, каменные фонари посверкивали, ветви деревьев выписывали в ночи штрихи тушью и мелом. Пока они болтали, Хару различил в себе странные потрескивания — так потрескивает льдина, сказал он себе, смущенный

возникшим образом, и предложил Эммануэль дойти до Куродани.

— Я перебегаю дорогу учтивости Исао, но этот первый снег сам зовет нас, — сказал он.

Они немного попетляли по кладбищам и добрались до верхней площадки длинной лестницы. Внизу тихо рокотал заснувший город. На склоне холма выстроились припорошенные свежим снегом могилы и деревья, служившие пристанищем воронам. На горизонте несли свой дозор западные горы, едва различимые в темноте. Хару и Эммануэль стояли одни на крыше мира. Она указала на длинные деревянные дощечки, покачивающиеся в ночи.

— Исао рассказал мне, что сотоба[35] уносят звучание имени покойников в иной мир, но мне кажется жестокой мысль, что умершие лишаются того имени, под которым их знали те, кто их любил. — Она махнула рукой в сторону заснеженных аллей. — Несмотря на это, должна сказать, что ваши кладбища действуют на меня не так душераздирающе, как наши.

— Они такие разные? — спросил Хару.

---

[35] Примечания: 35

Сотоба — ритуальная деревянная дощечка в форме пятиэтажной пагоды или буддийской ступы; на нее наносят сутры и посмертное имя умершего.

— Очень разные. На Западе кладбища — это место смерти. А здесь у меня все время ощущение жизни, как бы нелепо это ни звучало.

Он вспомнил, какими в Такаяме предстали перед ним предки Мод и его собственные.

— Однажды я рассказал одну историю француженке, которую только-только встретил. Саму историю, как и многие другие, я услышал от Кейсукэ.

Он замолчал, удивленный тем, что разоткровенничался.

— И что произошло? — спросила Эммануэль.

— Понятия не имею, — сказал он. — Что-то произошло, но я не знаю, что именно.

Она посмотрела на него.

— Расскажите эту историю мне, — попросила она.

Он замялся.

— Ну же, — настойчиво продолжила она. — Кажется, это важно, а я люблю истории.

Позади них что-то бормотал холм Синнё-до, у их ног, в изножье ступеней, лежало то место, где он узнал о существовании своей дочери.

— История эта случилась при императорском дворе, — начал он.

— Нет, — прервала его она, — расскажите мне

все так, как вы рассказали ей, теми же словами.

Его поглотил образ Мод, нагой, белой, бессловесной, которую он так страстно желал.

— В середине эпохи Хэйан наступили удивительно прекрасные рассветы, — снова заговорил он. — В глубине небес угасали охапки алых лепестков. Иногда в эти отсветы пожара попадали большие птицы. При императорском дворе жила одна дама, заточенная в своих покоях. Благородство ее рода наложило на ее судьбу печать плена, и даже маленький сад, примыкавший к спальне, был ей запретен. Но чтобы полюбоваться на рассвет, она опускалась на колени на деревянный настил внешней галереи, и с первого дня нового года каждое утро в сад приходил лисенок. До самой весны зарядил сильный дождь, и дама попросила своего нового друга присоединиться к ней в укрытии, под навесом небольшой террасы, где рос всего один клен и несколько зимних камелий. Там они научились понимать друг друга в молчании.

Он посмотрел на француженку, та смотрела на далекие горы. Что-то витало и трепетало. «Во мне? В ней? Вокруг нас?..» — спросил он себя. Она повернулась к нему.

— Позже, придумав общий язык, единствен-

ное, что они сказали друг другу, — имена своих мертвых, — закончил он, и Эммануэль на одном дыхании с ним проговорила: «Имена своих мертвых», — и снова пошел снег.

Итак, в ноябре восьмидесятого года японский мужчина и французская женщина, стоя на крыше мира, смотрели, как падает снег. Они думали, что стоят на пороге долгой дружбы, не знали, что больше никогда не увидятся, что эта ночь навсегда останется их единственной ночью. Небо крошилось белой стружкой, которую нес невидимый ветер, город бледнел и исчезал, оставляя их одних, и единственной их компанией были мертвецы.

— Вы уже слышали эту историю? — спросил Хару.

— Нет, — ответила она. Она поймала несколько снежных хлопьев тыльной стороной ладони. — Я догадалась.

— Любопытно было бы узнать, каким образом, — сказал он.

— Истории говорят с нами, хотя мы не знаем как. И у нас есть кое-что общее, у вашего друга Кейсукэ и у меня. Мы оба потеряли ребенка.

Она улыбнулась ему, словно это он нуждался в утешении, и внезапно мысль, что его дочь исчез-

нет, а вместе с ней и новый мост, перекинутый между ним и его близкими — между прошлым и будущим, между его предками и его судьбой, — заледенила ему кровь.

— Я вижу ваш ужас, — сказала Эммануэль. — На самом деле беспокойство — это единственный груз, от которого я освободилась. В остальном тяжесть та же, что странно, не правда ли? Со временем страдаешь меньше, однако лучше не становится.

Она опять улыбнулась, грустно, утешительно.

— Мне хочется спуститься по этой лестнице, — сказала она. — Я чувствую, что она куда-то нас приведет.

Он тоже улыбнулся и последовал за ней. Хлопья уминались под ногами, снегопад слабел, сумерки разрастались. Они спустились к подножью холма и оказались перед аллеей, где, как когда-то поклялся себе Хару, будет его могила, и Эммануэль с мечтательным видом двинулась вперед. Сделав несколько шагов, она остановилась перед пустующим местом, наклонилась и коснулась ладонью снега.

— В последний раз, когда я видела своего мальчика живым, он спал, — сказала она, выпрямляясь. — Он уже давно болел, и я могла перевести

дух, только когда ему удавалось заснуть. Тогда он становился похож на всех других маленьких мальчиков, и я представляла, что все хорошо. Я благодарна судьбе, что она позволила ему мирно спать, в то время как пробуждение всегда было кошмаром.

Она сделала знак, что ей хотелось бы продолжить прогулку, и они дошли до конца аллеи, прежде чем свернуть на эспланаду храма Куродани. Вновь зажглись звезды, и Хару показалось, что блестят они необычайно ярко.

— Кто была та француженка? — спросила она.

Он не знал, что ответить. Расстилавшееся вокруг охранительное присутствие храмов и кладбищ, сила могил и снега несло неясное послание.

— То, что Томоо сказал недавно о буто, верно и для любви, — сказала Эммануэль. — Только искусство и желание служат мерилом нашей сумеречной стороны.

— Кейсукэ утверждает, что я ничего не понимаю в женщинах, но вполне вероятно, что я ничего не смыслю в себе самом.

— В любом из нас есть тень, создающая слепые зоны, где мы прячемся от самих себя.

Они продолжили путь ко входу в Синнё-до,

проходя между храмами и садами комплекса. Хару знал здесь каждую тропу, каждый бамбук и каждый клен, которые луна и снег покрывали светящейся ртутной оболочкой. Они добрались до высокого красного портала, ведущего в главный храм; в воздухе ощущалась некая плотность и в то же время чудесная легкость.

— Я совершаю такую прогулку каждую неделю, — сказал он.

— Вы счастливчик. На этих холмах немало народу, и я говорю не только о мертвых.

— Откуда вы знаете, что это хорошая компания? — со смехом спросил он.

— Я уже очень давно не чувствовала себя так легко, — ответила она.

Дружеским жестом она взяла Хару за руку, он провел ее в большой двор, с теплотой в сердце ощущая ее приязнь.

— Нашей последней прогулке с Исао сопутствовал этот аромат глубины и радости, — сказала она, когда они подошли к большой пагоде.

— Значит, радость можно обрести, несмотря на пустоту? — спросил он.

— Боль во всем, мне от нее не скрыться. Но иногда, в некоторых местах, в чьем-то присутствии, я становлюсь другой женщиной, которая снова

способна дышать. Потом, увы, я снова становлюсь самой собой.

Они обошли храм и опять оказались на лестнице, которая вела к паруснику Томоо. Когда Хару собрался откланяться, она его удержала.

— Та француженка, она ведь показалась вам грустной, когда вы рассказывали о даме с лисенком?

Он удивился, кивнул, и Эммануэль кивнула тоже.

— Она принадлежит к сообществу, которого вам следует опасаться, — сказала она. — Возможно, было бы лучше, если бы ваши судьбы не пересекались.

Она сжала его руку, улыбнулась.

— Прощайте, дорогой друг, — сказала она. — Надеюсь вскоре вас увидеть.

Он вернулся пешком той же дорогой. В святилище Такэнака бросил монетку на алтарь, ударил в колокол, поклонился, хлопнул в ладоши, засмеялся над собой. На лестнице Ёсиды он несколько раз чуть не упал на ступенях, неразличимых и скользких из-за снега и тени высоких деревьев. Выйдя из лесного массива к скопищу зданий, он опять пересек спящий кампус, дошел до моста через Камо и остановился там на какой-то

момент. Большие серые цапли лениво дремали на берегу, заросшем дикими травами. Он снова увидел, каким движением Эммануэль прикоснулась к снегу на кладбище, и тот жест, каким чуть раньше она поймала несколько хлопьев — тыльной стороной ладони и самой ладонью, подумал он, но она прикоснулась не просто к снегу, а к земле, прикоснулась к материи. Жаль, он не спросил, как звали ее мальчика… Хару неожиданно пообещал себе, что в следующий раз расскажет ей о Розе, и решение поделиться своей тайной сняло с него тяжесть, о которой он не подозревал. Он посмотрел на звезды и снова с восторгом поразился яркости их блеска. «Может, они тоже мои судьи?» — подумал он, вспоминая ночь в Такаяме.

Он вернулся домой, пошел на кухню, приготовил себе крепкий кофе, выпил его у клена под луной. Подействовал ли недостаток сна, две ночи транса в обществе сначала предков, потом братьев, долгий разговор с Эммануэль Ревер? В игре света и теней, сумерек и снега проступала волнующая истина, где каждая вещь содержала свою противоположность, каждое желание — свое прямое отрицание. Его жизнь, до сих пор представлявшаяся ему прозрачной, обна-

жалась в своей глубокой двузначности, ладонь то раскрывалась, то поворачивалась тыльной стороной в бесконечном круге сменяющих друг друга призывов и отторжений. По образу вечной петли замкнутых энсо она вращалась вокруг невидимой оси, чередуя страдание и радость. Он услышал, как раздвинулась дверь прихожей, и в комнату вошла Сайоко в плаще и бежевом шерстяном платье, с распущенными волосами, стянутыми черной повязкой. Нахмурившись, она сурово на него посмотрела, и он понял, как ей неприятно, что он увидел ее в таком виде, что сам приготовил себе кофе. Занялся рассвет, снова пошел снег, клен трепетал. Сайоко вернулась, уже с причесанными волосами, неся поднос с чаем, рисом и жареной рыбой. Он поблагодарил, и она удалилась мелкими аккуратными шажками.

* * *

Сайоко Нисиваки исполнилось двадцать три года, когда она чуть меньше двух лет назад поступила на службу к Хару, у нее был сын (один из будущих трех), муж двадцати девяти лет и эскорт невидимых спутников. Она жила недалеко от Синнё-до, где ее овдовевшая мать завещала ей домик напротив Хонэн-ина. Как и везде, там

умирали от холода зимой, наслаждались милосердными, но быстротечными весной и осенью и задыхались от жары летом. К прочим неудобствам добавлялась близость к лесистым горам, по-соседски поставлявшим свою долю насекомых — комаров, тараканов, пауков и ядовитых многоножек, укус которых гарантировал добрых три дня лихорадки. В домик входили через деревянный портик и крошечный двор, поросший папоротником и нандинами. Внутри отгораживались от света — и еще бог знает от чего — тяжелыми шторами, двойники которых висели на окнах с наружной стороны. В шестнадцать часов слышался удар гонга, все устраивали передышку и смотрели, как улетучивается жизнь. Это был квартал лавочек, где продавали тофу, свежий кофе, моти[36] и домашний мисо-суп. Жизнь была неинтересной и напряженной, размеренной как по метроному, с периодическими вспышками безумия. Жили под защитой тесного периметра холмов, включенного в более обширные границы округа; здесь все всех знали, все друг за другом следили — то, что скрывали шторы, не

[36] Примечания: 36

Моти — рисовый колобок из сладкого риса мотигомэ, обвалянный в разнообразных посыпках — сахарной пудре, кунжутных семечках, а также во всевозможных приправах и пряностях.

могло укрыться от организма квартала, который видел все.

Там, рядом с матерью, и прошла свою школу Сайоко. Все дни недели Масако работала в традиционной гостинице у подножья холма Ёсиды, роскошном заведении, которое содержала старая, но слегка обедневшая семья. Здесь принимали высоких гостей, крупных японских руководителей и некоторых иностранцев, приехавших по делам в Киото; Масако помогала на кухне, убирала номера и залы, носила кимоно, училась вести бухгалтерские книги и счета. В этом месте чисто японский стиль смешивался с западными влияниями, характерными для эпохи Мэйдзи[37], то есть с вкраплениями ар-нуво и пристрастием к британской обстановке. Вокруг расстилались прекрасные сады с азалиями, кленами и соснами, подстриженными лучшими садовниками. После школы Сайоко присоединилась к матери и вместе с ней постигала премудрости всего, что требуется для содержания знаменитого дома. Она училась надевать и носить кимоно, опускаться

[37] Примечания: 37

Эпоха Мэйдзи — время правления в Японии императора Муцухито (1868–1912), период, когда Япония отказалась от самоизоляции феодализма и превратилась в современное индустриальное национальное государство, открытое западным идеям.

на колени, приветствовать, готовить, вести счета. Она училась ранжировать гостей, постигала иностранные обычаи и человеческие капризы. В «Ёсида-Хонкан» Сайоко училась служить.

В скрещении этого мира упорного труда и традиций с ее собственной природой сформировался прагматичный и в то же время причудливый характер Сайоко. И благодаря этой причудливости больше всего на свете она любила отправляться в те места, где можно было услышать голоса духов. Она ходила в буддийский храм Хонэн-ин, стоявший напротив дома матери, а рядом с рёканом[38] — в Ёсида-дзиндзя, самое старое синтоистское святилище города. Там во время долгих бдений у алтаря Такэнака она придумывала некий гибридный мир, сочетавший божества и ками, опираясь, с одной стороны, на рассказы монахов и священников, а с другой — на собственные детские домыслы, и, уже став женщиной, от этого мира не отреклась, а, напротив, вложила в свою веру еще больше страсти. Это приводило к тому, что там, где главную роль играли ее организаторские таланты, нить мысли Сайоко вдруг уходила в сторону. На самом деле она придерживалась

[38] Примечания: 38

Рёкан — традиционные японские гостиницы; считается, что больше всего их в Киото.

концепции духов двух различных религий, которая была полностью ее личным изобретением, и именно эта концепция частично объясняла подобные несообразные отклонения: ками — или неизвестно кто — нашептывал ей в этот момент нечто неслышимое для собеседника. А вообще она была худой, гладкой, гибкой, упрямой, редко улыбалась, контролировала все и вкладывала в свои заботы редкий пыл. Существование представляло собой путь, на протяжении которого следовало со всей серьезностью выполнять свою работу; стремление к удовольствиям было совершенно чуждо Сайоко, ей была присуща та форма простодушия, которая, как однажды заявил Кейсукэ, граничила с возвышенным.

После лицея, поощряемая Хираи-сан, владелицей рёкана, она уехала изучать историю искусств в Нару. Летом неожиданно умерла ее мать, оставив небольшие сбережения, которые Сайоко могла потратить на учебу. Ее три сводные сестры от первого брака отца, все старше нее, жили в районе Токио. Она сдала домик в Киото, а в Наре поселилась у своей двоюродной сестры со стороны отца. В конце дня, ублаженная обилием прекрасных творений и новых знаний, она возвращалась к себе, проходя мимо заднего

фасада Великого Храма[39]. И однажды вечером совершенно неожиданно ее в этот момент обуял страх. Перед ней распахнулась необъятность искусства, тени зданий на земле таили угрозу. Сумеречный силуэт храма, тяжелый и неодобрительный, излучал презрение, и она ощутила бесформенный ужас. Сделала несколько шагов, и вытянутые отблески фонарей испугали ее еще больше. Опустившись на колени в каменной аллее, она подумала: «Как ты смеешь?» Поднялась, поклонилась, убежала и назавтра вернулась в Киото, где три месяца спустя вышла замуж.

На смену детству, жизни в рёкане и затем в Наре пришла жизнь жены и матери: неудивительно, что Сайоко продержалась всего года три. Первого января 1979 года на рассвете — сын и муж еще спали — она вышла из дому, ступила на путь философии, прошла под двумя заснеженными вишнями, двинулась на запад по пустынным улицам и остановилась на мгновение только у подножья Синнё-до. Услышала потрескивание и невесомые звуки; небо было белым, вороны кружили над серыми крышами. Она продолжила

---

[39] Примечания: 39

Очевидно, речь идет о древнем буддийском храме Тодай-дзи, центре традиции кэгон, самом крупном в мире деревянном сооружении с гигантской бронзовой статуей Будды Вайрочаны.

свой путь по дороге судьбы, взобралась на холм, пересекла храмовый комплекс и спустилась к рёкану. Там она открыла дверь служебного входа, прошла по коридору и увидела Хираи-сан, сидевшую за низким столиком и каллиграфическим почерком выписывавшую стих.

— А, это ты, Сайоко? — тепло приветствовала ее пожилая дама. — Чем обязана удовольствием столь раннего визита? Новый год?

— Я хотела бы работать на вас, — ответила Сайоко, уважительно поздоровавшись. Глубоко поклонившись, она добавила: — Как моя мать.

Хираи-сан аккуратно отложила кисть, вздохнула.

— Нам очень не хватает Масако, — сказала она, — воистину очень. — Жестом она предложила Сайоко присесть. — Но ты не создана для такой работы, — продолжила она.

Сайоко собралась было запротестовать, но та подняла руку.

— Ты всегда обладала удивительным даром предчувствия и пришла сегодня не случайно. Хасэгава-сан по-соседски заходил ко мне вчера вечером.

Она встала, отыскала на секретере какую-то бумажку.

— Позвони по этому номеру. Речь идет об одном из его друзей, весьма достойном господине: он ищет экономку.

Она уселась обратно, снова взялась за кисть, но в тот момент, когда Сайоко уже направилась к двери, окликнула ее и сказала:

— Это будет твое первое королевство.

Назавтра Сайоко позвонила, препоручила сына соседке и отправилась ознакомиться со своим первым королевством. Вернувшись, она увидела во дворике пришедшего с работы мужа.

— Я беспокоился, — сказал тот.

— Он сразу же нанял меня, — сказал она. — Очень достойный господин.

— Нанял? — повторил муж.

— Дом выходит на Камо, — продолжила она. — На самом деле очень красивый дом.

Муж, привыкший к ее манере перескакивать с одного на другое, попытался приспособиться к новому положению дел. Он спросил:

— Что именно ты должна будешь делать?

— Всё, — ответила она, и так началась ее новая жизнь.

Каждое утро она шла на свет своего нового очага, на самом деле ставшего ее настоящим домом, местом слияния всех ее предыдущих и будущих

существований, каким был Синнё-до для Хару. Она знала, что первое очарование не ослабнет, что каждый рассвет будет приносить все то же упоение деревом и листвой, то же ощущение, что все вокруг правильное, чистое, настоящее — то, чему надлежит быть. Дом на берегу реки заключал в себе то, перед чем она благоговела в искусстве, но давал ей пространство по мерке, где она чувствовала себя на своем месте и могла безопасно царить. Следует добавить, что Хару ей понравился, и она поклялась заботиться о нем до самой смерти с преданностью, которую позже кое-кто счел фанатичной. И наконец, через некоторое время после ее восшествия на престол королевства случилась последняя из эпифаний. В первые дни она вглядывалась в предметы и стены, прислушивалась к дому, вопрошала дерево и с недоумением призналась себе, что чего-то здесь недостает. Она бродила по коридорам и комнатам с ощущением пустоты, требующей чьего-то присутствия. Она неустанно искала, но не знала, чего именно. И вот, через две недели после того, как она заступила на службу, произошла ее встреча с Кейсукэ.

* * *

Она открыла дверь, и он рухнул ей на руки, воняя перегаром, в криво застегнутой рубашке и без одного башмака. Она оттолкнула его, и он мягко осел на пол прихожей. Она посмотрела на него и, ослепленная, спросила у вошедшего следом Хару:

— Он князь?

Хару глянул на растрепанного и расхристанного Кейсукэ, который глупо хихикал.

— Князь?.. — повторил он.

Но она уже не слушала и в экстатическом восторге склонилась к пьянице. Теперь она понимала: тот, кого она выслеживала все эти две недели, жил вне дома, однако воплощал его.

— Пойду приготовлю кофе, — с улыбкой сказала она.

Затем состоялся весьма оригинальный диалог. Хару удалось дотащить Кейсукэ до большой залы и, усадив его на подушку, прислонить к клетке с кленом. Сайоко принесла кофе и опустилась перед ними на колени, сложив руки на черном оби, расшитом желтыми хризантемами. После первой чашки Кейсукэ начал раскачивать головой.

— О, большие хризантемы, — залепетал он со

слезами на глазах.

— Она очень их любила? — спросила Сайоко.

— Очень, — сказал Кейсукэ.

Сайоко преклонила ухо и, казалось, прислушалась к чему-то или к кому-то.

— А-а, — грустно сказала она, — ваша маленькая дочка тоже!

— Моя маленькая дочка тоже, — нараспев прогнусавил Кейсукэ.

— Она любила цветы, как ее мать?

— Как ее мать, — повторил Кейсукэ.

Сайоко удрученно насупилась.

— Как ее мать, — повторила она вслед за ним.

И подала вторую чашку кофе, которую тот осушил одним глотком.

— Ты кто? — спросил он, прищурившись и сведя брови, чтобы сконцентрировать взгляд.

Очевидно, он в этом не преуспел, потому что вскричал:

— Лисица! Лисица в кимоно! О, большие хризантемы! — И ткнул пальцем в Хару. — А вон тот, — сказал он Сайоко, — вон тот — самурай и эстет в теле торговца. Знает толк в чае, в духе и в делах.

Сайоко с ученым видом кивнула.

— Но он ничего не понимает в женщинах, —

продолжил Кейсукэ. — Он смотрит на них, но не видит, щупает товар и прикидывает количество тушек. В конечном счете единственное его спасение в том, что он не любит прямых линий.

Кейсукэ засмеялся и безуспешно попытался встать на ноги.

— Люди с гор полные придурки, — возгласил он, — но когда все вокруг идет прахом, то именно такого дурака ты и хочешь видеть рядом. — Потом с удивлением воскликнул: — Как это, ты, оказывается, не лисица?!

Сайоко покачала головой.

— Не думаю, — сказала она и, отбросив правила собственности, социальной иерархии и женской сдержанности, добавила: — Вы здесь у себя дома.

Оставшуюся часть утра горшечник храпел на низком диване в большом зале, Сайоко бдела над своим новым героем с ревнивой чуткостью волчицы, а Хару приводил в порядок кое-какие дела и медитировал у себя в кабинете. После полудня Кейсукэ вынырнул из комы и обнаружил под рукой крепкий чай и мисочку с натто[40].

— У твоей экономки великий дар предвидения, — сказал он Хару, который читал, покуривая,

---

[40] Примечания: 40

Натто — традиционная японская еда из сброженных соевых бобов, употребляется зачастую на завтрак.

неподалеку.

— Может, она слушает звезды, — предположил Хару.

— Ты сам не понимаешь, что говоришь, — развеселился Кейсукэ.

— Я мужлан с гор, но небесные светила я слышу, — возразил Хару.

Повинуясь неожиданному порыву, Хару прочел стих из Какурэдзато. Повисла пауза.

— Это Сэцуко Нодзава, — наконец сказал Кейсукэ. И после новой паузы добавил: — Саэ очень ее любила.

— Она еще жива? — спросил Хару.

— Мертвые живы, — ответил Кейсукэ, — ведь они живут через нас.

— Я говорю о поэтессе, — сказал Хару.

— Я знаю, — сказал Кейсукэ, — но люблю напоминать тебе об основополагающих вещах. И вот еще одна: настоящий язык Японии, язык звезд, был придуман образованными женщинами эпохи Хэйан; этот язык говорит о дожде, снеге, ночи и чувствах на тысячу разных ладов, с богатством и чувствительностью, которые давно погублены современностью. Все, что есть в Японии живого, идет от пути женщин.

Он помахал своим натто перед носом Хару.

— Женщины — наши судьи. Уж не знаю, что у тебя на уме, но лучше бы тебе этого не забывать.

И вот год спустя воспоминание о тех словах Кейсукэ слилось со вчерашними словами Эммануэль Ревер: «Она принадлежит к сообществу, которого вам следует опасаться». Хару засмеялся, смущенный извивами судьбы. Звезды направили его сначала к предкам, потом к братьям, а теперь показывали его судей. Имена им были Сайоко, Эммануэль или Паула, доброжелательные опекунши ребенка, чья судьба принадлежала женщинам. Он ценил, что Сайоко в курсе, собирался открыться Эммануэль и вручал судьбу Розы в руки Паулы. Все три женщины обладали мечтательным умом, восприимчивостью к невидимому и отличались равно насыщенным присутствием, что и делало их благоприятным для его дочери сообществом. И напротив, Мод со своим враждебным сообществом должна была навсегда исчезнуть из жизни Розы. Из скопившихся досье и с кипарисовых панно в своем кабинете он убрал все фотографии Мод и позвонил Манабу Умэбаяси, попросив его передать соответствующее указание французскому фотографу. Наконец он сделал то, что, как ему казалось, естественным образом вытекало из указаний триумвирата бла-

годетельниц: поговорил с Сайоко.

* * *

Он поговорил с ней назавтра, с глазу на глаз, перед клеткой с кленом. Она принесла чай и села напротив.

— Мать Розы не желает, чтобы я принимал участие в жизни дочери, — сказал он.

— Грустная француженка.

— Вы помните ее? — спросил Хару.

— Однажды утром я столкнулась с ней в прихожей, — ответила Сайоко. — На ней было зеленое платье. — Она развела руки и снова их скрестила. — Очень красивая, очень грустная, — добавила она.

— Именно, — сказал Хару, — я чувствую себя беспомощным перед лицом такой грусти.

— Это проклятие, татари[41], — сказала она. — Какой-то очень сильный ками или даже ёкай[42], потому что я вижу лисицу. А вот добрый это дух или злой, еще предстоит определить.

Она нахмурилась.

---

[41] Примечания: 41

Татари — в синтоизме месть умерших, злых или обиженных ками.

[42] Примечания: 42

Ёкай — общее название всех человекоподобных демонов японского фольклора.

— В давние времена люди и лисицы жили бок о бок, — продолжила она, — поэтому сразу не видно. Однако, чтобы действовать, нужно узнать причину, а эта женщина уехала во Францию. Что делают французы, чтобы очиститься? Если это круг заклятия, его следует немедленно разорвать.

— Как я могу сблизиться с дочерью, если меня нет в ее жизни? — спросил он.

— Сблизиться?.. — повторила она, словно само слово было грязным. — Лучше отсутствовать.

Он растерялся:

— Не понимаю…

— Расстояние сохраняет связь, — сказала она. — Реальность разбивает ее.

— Но любовь требует некоторой близости, — возразил он.

Она засмеялась.

— Вы будете давать, — сказала она. — Вы будете давать, как это делают звезды, которые охраняют нас, ничего не ожидая взамен.

Его удивило появление звезд на сцене, и без того заполненной лисицами и духами, и он заподозрил, что между Сайоко и Кейсукэ имеет место некий внутренний сговор, от которого его держат подальше.

Все утро Хару размышлял над ее словами. Он вспоминал главные события прошедшего года и чувствовал, как в нем крепнет решимость. В конечном счете единственное его спасение в том, что он не любит прямых линий, как сказал Кейсукэ. Сегодня, следуя указаниям лисиц и звезд, он понял, какой в этом заключался смысл. Наверно, он может быть отцом только в духе энсо и каллиграфии, отражающих извивы и тупики его собственного внутреннего устройства. Его деловое чутье, талант добиваться успеха, склонность к обольщению и к женщинам, неспособность к сближению, — возможно, в этом и кроется объяснение тому, что он возжелал Мод и готов любить ребенка, к которому не может подойти напрямую. И чем тогда возместить эту неспособность? Судя по словам Сайоко, Роза предоставляла ему возможность осуществить свое природное стремление, сделать то, чего не мог совершить ни торговец, ни любовник: ибо в глубине души он хотел давать. Он обнаружил это в себе, принял и возрадовался. Претворил это чувство в отцовское и вознес его в высшую точку своего сознания. Он будет давать. Пусть не используя прямой путь, но все же давать. И если на этой дороге даров он будет почитать родных, любить братьев и следо-

вать пути женщин, то, вполне вероятно, однажды сумеет стать отцом. «Путь женщин», — повторил он, как привык говорить «путь чая», и вручил свою судьбу в руки судей.

Долго





Так прошли годы в почитании пути женщин,

в страхе перед кругом проклятий и в беседах с отсутствующей — единственной форме дарения, которой Хару на тот момент располагал. Каждое утро он вставал, приветствовал реку и горы, выпивал чашку чая, разговаривал с Розой, прикуривал сигарету и начинал рабочий день. Вечером, принимая ванну, он, как всякий добросовестно отработавший отец, возвращался к разговору, начатому утром. На самом деле он сомневался, что многие отцы питают такой интерес к дочерям. Угроза Мод лишала его доступа к Розе, но оставляла такой простор для свободы, которым располагал, да и, по правде говоря, вряд ли желал мало кто из ему подобных. Дети принадлежали женщинам, и, за исключением Кейсукэ, Хару не знал ни одного мужчины-японца, с увлечением принимавшего участие в домашнем воспитании.

Он с особым интересом наблюдал за тем, как Бет растит своего сына. Они по-прежнему часто виделись, он спал с ней и обсуждал дела. Их дружба была ровной и плавной, без романтических устремлений, но со всем, что требуется от секса, чтобы каждый чувствовал себя удовлетворенным. К тому же если Бет и оставалась для Хару отчасти загадкой, то, в отличие от Мод,

эта таинственность не делала его незрячим. В чем-то Бет казалась ему непроницаемой — и оттого вдвойне желанной, — но лишь потому, что была англичанкой, а в остальном они были во многом похожи. Она часто брала Уильяма с собой на их совместные с Хару обеды, и с некоторого времени это стало ритуалом: каждую пятницу они встречались в ресторанчике «Мисима-теи» на Тэрамати, большой крытой улице в центре Киото. Это было старинное заведение, расположенное в старой матии[43], где подавали сукияки[44], которое Уильям обожал. Напротив Хару усаживался молчаливый ласковый ребенок с большими голубыми глазами, обрамленными темными ресницами. От матери он унаследовал поджарое вытянутое тело, от отца-японца — черные волосы, тонкий нос и цвет кожи. Высокий, изящный, странный, он был так красив, что на улице на него оборачивались прохожие. Они отпраздновали двенадцатилетие Уильяма, глядя, как тот поглощает тонкие ломтики жирной

[43] Примечания: 43

Матия — традиционные деревянные таунхаусы, типичные для исторической столицы Киото.

[44] Примечания: 44

Сукияки — традиционное японское блюдо из тонко нарезанной мраморной говядины с тофу, овощами, грибами.

говядины, сваренные в саке с сахаром и вымоченные в сыром яйце. Хару очень нравилось, что эта жесткая женщина оказалась любящей матерью, хотя не питала склонности к выражению любовных чувств. Она желала только мужского тела и власти строить империи, а в остальном довольствовалась любовью к сыну в сочетании с любовью к садам дзен.

Ибо Бет Скотт (такова была ее девичья фамилия) полюбила Японию с первого взгляда, упавшего на песок Нандзэн-дзи, а позже, тоже с первого взгляда, — ребенка, родившегося у нее от этой японской страсти. Хару всегда с недоумением думал о муже, которого она себе выбрала, — на деловых встречах он несколько раз сталкивался с этим мужчиной, лишенным очевидных достоинств, и не замечал его в упор. Однако Хару знал, что после первой ночи с Бет Рю Накамура сказал ей: «Я предлагаю тебе Японию, комфорт и, если захочешь, детей. Взамен ты будешь свободна, но навсегда останешься моим партнером». А значит, было бы не совсем правильно сказать, что он лишен любых достоинств, как было бы неверно полагать, что Бет свободна от любых привязанностей. Ей мало кто нравился, но там, где другие действовали под влиянием всплеска

эмоций, она руководствовалась здравым смыслом и уважением, за что ею восхищался муж. В результате за два первых года их брака его торговля недвижимостью выросла в пять раз. Никто не обманывался по поводу причин такого успеха, но Бет соблюдала приличия, молчала, держалась в тени, и недолюбливавшие ее японцы относились к ней с уважением — а это было всё, что она сама могла предложить и чего ждала от других.

И все же в жизни Бет выдались два момента, когда она почувствовала, что более себе не принадлежит. В день, когда ей исполнилось двадцать два года, она впервые оказалась перед главным садом Нандзэн-дзи. Шел дождь, она заплатила за вход в храм, сняла обувь, прошла по длинному темному коридору, и перед ней предстала залитая светом сцена. Десять тысяч преодоленных километров, смутные интуитивные прозрения, не поддающиеся формулированию желания — все обрело смысл при взгляде на формы этого сада, где было четыре дерева, камни, мох, несколько камелий, одна или две азалии и море песка с вычерченными волнами. Слева и напротив — белые плоскости стен с идущей поверху серой черепицей, справа — длинная внешняя галерея храма, чуть дальше крыши других храмов, деревья на

горных склонах, небо над хребтами. И повсюду шум дождя. В самой Бет сухая безнадежная галька преобразилась в пейзаж одиночества и очищенного от страдания духа. Глядя на сад и чувствуя, как в нем преломляются и находят успокоение те образы, что она несла внутри себя, Бет подумала: «Здесь я выстою против чего угодно». И наконец, в день, когда ей исполнилось двадцать четыре года, — это была весна шестьдесят девятого — она оказалась лицом к лицу еще с одним из своих внутренних пейзажей. Ощущение было точно таким же: укоренившееся в ней невидимое отчаяние вышло на свет и претворилось в радость, следуя той же мощной метаморфозе, которую она пережила перед храмовым садом. Но когда Рю пришел в роддом познакомиться со своим сыном, она сказала ему:

— Его зовут Уильям.

— Ему нужно еще и японское имя, — сказал Рю.

— Как хочешь, — сказала она, — но мы будем звать его только Уильям.

Двенадцать лет спустя, день в день, Хару обедал с Уильямом и Бет в старой матии на улице Тэрамати, где в зазорах бумажных перегородок слышались вздохи и отголоски празднеств ушед-

шего в историю века. Ему нравилось, что Бет была просто матерью, не ждущей в ответ от сына подтверждения собственного существования, и он наслаждался, глядя, как она отдает свою безоглядную любовь. Они обедали в отдельном кабинете, где официантка оставила их одних, принеся жаровню, тэцунабэ[45], ломтики говядины, лепестки хризантемы, шнитт-лук, репчатый лук, грибы, тофу и взбитое сырое яйцо. Мягко текло время. Потрескивало дерево. Перешептывались духи. Остов старого здания повествовал о невзгодах и победах истекшего века, о непреходящей природе культуры, о ее способности приспосабливаться, но не умирать. Снаружи простиралась крытая галерея с множеством пестрых лавочек, неоновых вывесок, крикливой музыкой и грязным бетоном. Здесь плавно скользили перегородки, помнившие три императорские эпохи.

К концу трапезы в какой-то момент Хару повернулся к Уильяму. Ребенок смотрел на него с непривычным напряжением, расширив глаза, заполненные черным ужасом, и в глубинной туши этого взгляда Хару различил мелькнувший силуэт призрака. Мальчик опустил голову, стра-

---

[45] Примечания: 45

Тэцунабэ — чугунный горшок для приготовления сукияки.

дальческое коловращение рассеялось, и Хару налил себе выпить, чтобы скрыть волнение. Бет ничего не заметила.

— Мы счастливы здесь, — сказала она. — Десять лет в Токио были не таким уж долгим чистилищем, но все же пора уезжать.

Уильям жевал грибы и, напевая, варил себе кубики тофу. Хару доверительно сообщил Бет, что хотел бы купить квартиру в Токио — он устал от гостиниц, а дела там идут хорошо.

— На той неделе поедем и посмотрим вместе, — сказала она и погладила сына по голове.

И снова призрачный ужас в зрачках ребенка, и снова улыбающаяся слепая Бет, целиком поглощенная нежностью к сыну. «Что происходит?» — спросил себя Хару с комом в горле, думая о Розе. Могут ли тени так быстро поселиться в сердце ребенка? Он вдруг увидел себя самого в том же возрасте на берегу родного потока и в этом мимолетном видении, навеянном грустью, тенями и тишиной, почувствовал подползающую угрозу.

* * *

Однако прошло четыре года, и ничего рокового не случилось. На протяжении этих лет Хару

продолжал разговаривать с дочерью, убедив себя, что круг проклятий был миражом, и в своих решениях по-прежнему полагался на женщин.

Фотографии и отчеты прибывали из Франции каждый триместр, Роза росла, и Хару вглядывался в черты маленькой рыжей смеющейся девочки со смешанным чувством восторга и удивления. Ничто в ней не позволяло предположить, что ее отец — японец. Однако, не считая цвета глаз и волос, она не похожа была и на мать. У нее был задорный вздернутый носик, веснушки, округлый овал лица и высокий прямой лоб, в то время как у Мод лоб был узким и немного выпуклым. На фотографиях он видел девочку, закутанную в оранжевое пальтецо, в натянутой до самых глаз зеленой шапочке, с разлетающимися вокруг щек рыжими прядями и радостной мордашкой, решительно не приемлющей ничего, кроме счастья. Все в ней с такой силой опровергало предсказанное проклятие, что он каждый день смотрел на снимок, будто прикасался к талисману. На другой фотографии она, задрав носик, пристально смотрела на бабушку, и он с удивлением узнавал в Розе себя — через все континенты и вопреки враждебным козням судьбы. В ней было то очарование, рождавшееся из сочетания озаренности

души и легкости, которое он знал и за собой. Она вглядывалась в жизнь, просвечивая ее с тем же аппетитом, что и мальчишка, которым он сам когда-то был. Она наблюдала, препарировала и желала всего — точно так же, как сам он вошел в мир, чтобы пожирать его. Рядом с ней Паула всплескивала руками, улыбалась, напевала и говорила с внучкой с такой заразительной радостью, что иногда, разглядывая фото, Хару смеялся от всего сердца. Тот факт, что судьба дочери находится в этих руках, его успокаивал, тем более что Мод больше не фигурировала на снимках, хотя отчеты гласили: она проводит все дни, сидя на веранде, и время от времени плачет. Но Роза жила, и Хару продолжал утром и вечером говорить с ней о своей реке, о братьях и далеких предках. Он рассказывал ей о Такаяме и Киото, о здешних и тамошних горах, о том, сколько времени требуется на ферментацию саке, о важности лисиц. Он объяснял ей, в чем заключается его работа, делился своими пристрастиями, рассказывал о том, что считал неприемлемым, раскрывал колесики и премудрости своего ремесла. При этом он, как никогда раньше, открывал нового себя — множественного, слагаемого из различных элементов, неразрывно связанного с галактикой отцов. Под

конец он прикуривал сигарету и возвращался к своей японской жизни.

Утвердившись в этом относительном равновесии, жизнь так и текла до года великого начала. Дела шли настолько хорошо, что с помощью Бет он купил большую квартиру в Токио. В столицу он отправлялся два-три раза в месяц, устраивал там ужины для прессы, а однодневные выставки и вечеринки — у знакомого, у которого был дом в Гиндзе[46]. Там он встречал разных женщин, а также мужчин, которые становились его друзьями, — множество людей, расширявших круг его связей. Он проводил дни в веселье и усердных трудах и преуспевал как нельзя лучше. Но, возвращаясь в Киото к своему очагу, к храмам и горам, он чувствовал, что возрождается. В золотых отсветах успеха он снова становился тем человеком, которым был до того, как занялся торговлей. Он заходил в дом на Камо и покидал его в поисках друзей. Увидев Кейсукэ в глубине бара, Хару чувствовал, что оказался в сердцевине своей жизни.

Время от времени он обменивался письмами с Эммануэль Ревер и надеялся, что однажды она

---

[46] Примечания: 46

Гиндза — торговый квартал и культурный центр в одном из районов Токио, считается одним из самых роскошных мест мира.

вернется в Японию, чтобы он смог поговорить с ней о Розе. Через три года после их первой встречи она сообщила ему, что весной даст несколько концертов в Нагое и Токио. «Но я обязательно навещу вас в Киото, — приписала она в конце, — и мы вместе погуляем под вишнями в Синнё-до». Больше он о ней ничего не слышал, но узнал от Томоо, что концерты в Токио отменены. Неделю спустя он получил письмо и с трудом разобрал дрожащий почерк. «Я больна, — писала она, — и, что бы ни говорили врачи, я знаю, это конец». Он ответил, что она наверняка ошибается, что он думает о ней и что скоро она вернется в Японию. В ответ она поблагодарила его и добавила: «Смерть меня не пугает, но, когда меня больше не будет, кто вспомнит о моем маленьком мальчике?» После этого он не получил никаких известий, забеспокоился, позвонил Манабу Умэбаяси, тот сказал, что Эммануэль Ревер больше не выходит из дому и никого не принимает. Ничто не предвещало грозы — но вот наступил 1985 год, и все, что было ранее предречено, начало сбываться.

* * *

1985-й — год четырех смертей. О первой Хару узнал от Томоо после полудня третьего января,

когда он и не собирался идти в Синнё-до, но в последнюю минуту его что-то толкнуло, он вышел под снег, взял такси, и оно доставило его к паруснику в тот момент, когда надвигалась ночь. Томоо встретил его словами:

— Эммануэль Ревер умерла. — И добавил: — Исао болен.

— Что значит болен? — спросил Хару.

Но Томоо не ответил, впустил друга в дом и провел в зал вечеринок и саке, где Исао, его единственная любовь, лежа в кресле, мучился от невыносимой боли. С ввалившимися щеками и потухшим взглядом Исао едва дышал. Его прекрасное лицо, еще накануне юное, поглотила старость. Он проболел неделю и умер. В больницу тянулась череда друзей, Томоо не отходил от его изголовья, ничего нельзя было сделать, только смотреть, как он угасает. Утром десятого января Хару пришел в палату и увидел Томоо, стоящего на полу на коленях, глаза у него были закрыты, руки лежали на бедрах. Хару опустился на колени рядом, и они какое-то время так и оставались, в ложном молчании мониторов, поднялись, увидели, что Исао мертв. Томоо не дрогнул, не заплакал, ничего не сказал, и Хару тоже. Они посмотрели на измученное тело того, кто был так радостен и

прекрасен, потом пришла медсестра, потом врач, потом еще кто-то, и они вышли из палаты.

Отпевание состоялось у родителей Исао, в Арасияме, на другом конце города. Ко всему безразличный дряхлый монах тянул, запинаясь, свою сутру, место было мрачным, семья молчалива и неодобрительна, и непонятно было, то ли это из-за смерти, то ли из-за присутствия друзей Исао. Дом стоял на берегу реки Кацура в том месте, где она, широкая и каменистая, напоминала лунную поверхность. За садом ухаживали небрежно, было влажно и сумрачно, все дышало убогостью и скукой. Посетители вручали конверты с подношениями, а Исао лежал с неузнаваемым лицом посреди этого болота. Похороны на следующий день прошли в том же духе, и Томоо, сделав то, что от него ожидалось, представился как сосед покойного. Он положил цветок в открытый гроб и ушел не обернувшись. В тот же вечер в Синнё-до собралась большая компания.

Там были давние друзья, коллеги по театру, где Исао служил администратором, и астрономическое количество саке. Один из его братьев, единственный, с кем Томоо когда-либо виделся, присоединился к ним в тот момент, когда началось чередование питья и речей, которое грозило

продлиться всю ночь. Собравшиеся пили, кто-то вставал и говорил, пили снова, потом вставал и говорил другой. Томоо, осев в кресле, где страдал тот, кто был его великой любовью, слушал всех и не пил. Актеры и рабочие сцены рассказывали театральные байки, друзья — байки из долгой дружбы, каждый был пьян от саке и горя. В какой-то момент Кейсукэ обратился к брату Исао:

— Так ты, Иэясу, веришь в идеальную жизнь?

Разумеется, тот был слишком пьян, чтобы ответить.

— Она не существует, — сказал Кейсукэ. — Не суди так строго своих родителей и братьев, они верят в то, что им велят делать, вместо того чтобы делать то, во что они верят, и куча людей поступают так же. А вот Исао верил только в человечность и потому был одним из тех, с которыми возможна идеальная жизнь.

Пробежал одобрительный ропот, и Томоо выпил наконец четыре рюмки подряд. Около десяти вечера в дверь позвонил Жак Меллан, которого сопровождал совсем молоденький юноша в таком же черном галстуке бантом, как и у него самого. Он принес по-японски соболезнования Томоо и сказал, указывая на сына:

— Я хотел, чтобы он научился.

Мальчик представился на неуверенном японском: его зовут Эдуар, он рад знакомству, и добавил по-английски, что глубоко сожалеет по поводу Исао.

— Сколько тебе лет? — спросил Томоо.

— Шестнадцать, — ответил тот.

За окном в свете фонаря виднелась вишня, которую зима и ночь облекли в прозрачный лак. Время шло, одни гости засыпали на татами, другие уходили, и в какой-то момент только два француза и трио японских друзей еще разговаривали и пили. Вначале старались говорить по-английски, но потом, не без помощи саке перешли на японский, и Хару, единственный, кто еще был на это способен, переводил для Жака, который, вообще-то, неплохо понимал, и Эдуара, который не понимал ничего. Даже Томоо отчасти сдался и ближе к полуночи заставил Жака дважды повторить вопрос, от чего умер Исао.

— Скоротечная болезнь, — ответил он, когда понял. — Ад совсем рядом, и туда падают, пройдя через полосу тумана.

Уже начавший посапывать, Кейсукэ поднял голову.

— Ад? — сказал он. — Мне на жизнь был отведен всего один час, однако мне не дано умереть.

Моя судьба — пережить близких, и я сижу тут, как мудак, в ожидании, пока перемрете вы все.

Он рыгнул и налил себе выпить.

— Но ты, — добавил он, глядя на Томоо, — у тебя судьба иная.

Хару перевел для Жака и Эдуара.

— А, — сказал Жак, — я так и понял. А вот я умру раньше, чем мои близкие, но мой час тоже миновал, и мне остается только убивать время.

Он повернулся к сыну.

— Я люблю тебя, — сказал он, — но, понимаешь ли, я говорю о своей жизни мужчины.

— А в чем судьба Томоо иная? — спросил Эдуар.

Хару перевел вопрос на японский для Кейсукэ.

— Судьба То-тяна? — сказал Кейсукэ. — Ему повезло, вот и все. У него будут другие любови.

— Вы умеете предвидеть удачу? — спросил Эдуар.

— Ну да, — сказал Кейсукэ.

— И можете сказать, ждет ли меня удача?

Кейсукэ засмеялся.

— Я не медиум, — сказал он, — и не могу ничего увидеть по заказу.

— Тогда кто же вы? — спросил Эдуар.

— Поэт, — ответил Кейсукэ.

Затем вечер покатился дальше, но больше никто не мог действительно поддерживать беседу, только Хару продолжал разговаривать с Эдуаром.

— Ты уже знаешь, чему хочешь посвятить жизнь? — спросил он мальчика.

— Мне перейдет магазин, — сказал Эдуар. — Но сначала я буду изучать восточное искусство и языки.

— Тебе нравится коммерция? — спросил Хару.

— О, — сказал Эдуар, — не особенно, но это ведь средство, верно?

— Средство для чего? — заинтересовался Хару.

— Чтобы быть здесь, — ответил тот. Он обвел комнату взглядом. — Я никогда не думал, что однажды что-то пойму в своем отце. — И, указав на Томоо, добавил: — А еще я никогда и представить себе не мог, что мой отец меня понимает. По всей видимости, мы живем на разных планетах и понимаем друг друга только в Японии.

— Уже не так плохо, — сказал Хару и добавил непринужденным тоном: — Ты знаком с нашей общей подругой, Мод Ардан?

— Мод? — сказал Эдуар. — У нее есть дочка, а теперь Мод уехала к своей матери и живет там затворницей. Отцу она нравится, уж не знаю по-

чему. Мне кажется, она сумасшедшая, и на самом деле мне жаль ее дочь.

— Сумасшедшая? — повторил Хару.

— Я имею в виду: кто еще может уйти от мира в тридцать лет, кроме монахов и сумасшедших?

В три часа ночи Жак и Эдуар отбыли, Кейсукэ храпел на татами в компании еще нескольких гостей, Томоо лежал в своем кресле, полуприкрыв глаза. Хару вышел в холодную ночь и начал подниматься по лестнице к храму. Было светло, каменные фонари бросали длинные отточенные тени, поблескивал гравий. Слова Эдуара «мы с отцом понимаем друг друга только в Японии» намечали для Хару новую перспективу в отношениях с дочерью. Он хотел давать и до этой ночи думал, что все сводится к его разговорам с Розой, а позже — к передаче ей всего, что он нажил. От этой мысли он рассмеялся, выпустив небольшой клуб пара. Направившись к Куродани, он прошел между могил и наконец добрался до верха лестницы. От расстилавшегося под его ногами города поднимался глухой гул и звуки сирен. Слева в отдалении виднелась обзорная башня — самое высокое здание не признающего небоскребов старинного города — с ее нелепыми очертаниями металлического гриба: белой ножкой и круглой

ярко-красной верхней платформой. В центре самым ярким в легком тумане световым пятном горели окна отеля «Окура», второго по высоте здания в Киото. Справа вдали, карабкаясь на горные отроги, располагались дома современных кварталов. То тут, то там, затерянные в океане бетона, маяками выделялись крыши храмов. Все остальное тонуло в неоновой зыби. Хару долго смотрел на эту смесь уродства и благости.

* * *

В сущности, понять живущих стало той задачей, к которой его подвели все тридцать шесть лет предыдущей жизни, потому что люди вокруг постоянно умирали и следовало позаботиться об оставшихся.

Третьим, после Эммануэль и Исао, ушедшим в мир иной, стал в свои сорок лет Рю Накамура. Двадцатого января — в день рождения Хару — он в полдень рухнул на землю строительной площадки, и «скорой помощи» осталось только констатировать смерть. Бет ждала его в соседнем ресторанчике, где они собирались вместе пообедать. Она увидела, как вошел ближайший помощник Рю, кровь отхлынула от ее лица и прилила к ногам. Когда он сказал, что у Накамуры-сан

случился приступ, она осела на стуле, охваченная бесконечным облегчением, и несколько дней спустя призналась Хару:

— Я подумала, что несчастье с Уильямом.

Похороны прошли на высшем уровне; Бет, соблюдая обычаи, предавалась скорби, удовлетворяющей японское общественное мнение, искренне отдавая должное памяти мужа и подготавливая будущее семейного предприятия. Уильям молчал — так же, как во время их обедов на Тэрамати, да и вообще в жизни. Он был так красив, что эта красота надрывала сердце, внушая, как любое совершенное произведение, страх ее повредить. Иногда он смотрел на мир сумрачно, к чему Хару привык, но никакая мрачность не могла сравниться с той непроглядной чернотой ужаса, который отразился во взгляде мальчика в день его двенадцатилетия. Его ярко-синие глаза в подростковом возрасте приобрели хрустальную глубину, и чувствовалось, что их пристальность в моменты высшего напряжения превращается в прозрачность. К этой необыкновенной красоте, высокой фигуре, черным волосам и рисовой бледности кожи добавлялось редкостное изящество, всегда завораживавшее прохожих. Но сам он, бесстрастный и молчаливый, что бы ни проис-

ходило, казалось, слышал и видел только мать. С ней он изъяснялся по-английски, хотя во время обедов в «Мисима-теи» говорил и по-японски. Хару заметил, что мальчик выглядел не таким грустным, когда говорил на языке отца, и на похоронах чувствовал себя свободнее в японском облачении, чем в своих британских одеждах. Однако независимо от выбора языка Уильям оставался загадкой.

Несколько дней прошли без иных предупредительных выстрелов, потом наступило тринадцатое февраля, и Сайоко в середине дня заметила: «Что-то странное в воздухе». Вечером Хару ужинал с Кейсукэ и Томоо в ресторанчике соба[47] на Сиракаве, большой улице, пролегавшей внизу под парусником. Там они выпили в разумных пределах, а затем отправились бороться с этой полумерой в один из баров в центре, где подавали французское вино, — первом таком заведении в Киото. «Пф-ф», — заявил Кейсукэ после стаканчика бургундского, цена которого в меню уходила за горизонт. Они заказали бордо, одну из лучших марок, и теперь потягивали его, покачивая головой.

---

[47] Примечания: 47

Соба — национальное японское блюдо в виде длинной коричнево-серой лапши из гречневой муки.

— Не стоит оно хорошего саке, — заключил в конце концов Кейсукэ, и вся компания переместилась в один из своих любимых баров, где им подали саке, тоже по фантастической цене. После двух часов приятного времяпрепровождения у Хару возникло ощущение, которое он списал на действие алкоголя: мир откатывался вдаль, как море с побережья при приближении цунами. Он смотрел, как невидимый вихрь всасывает улицы и дома, унося их куда-то, в то время как он безуспешно пытался удержать хоть что-то. В этот самый момент Кейсукэ, заведя речь о Таро, своем старшем сыне, сказал:

— Он ныряет на Окинаве, теперешняя молодежь сплошь идиоты, в его возрасте я ходил в горы за глиной для раку[48].

Томоо взял такси до Синнё-до, Кейсукэ и Хару добрались пешком до дома на Камо. Торговец был под хмельком, но двигался по прямой, и язык у него не заплетался — он подхватил Кейсукэ, дотащил его до дивана в большом зале с кленом, бросил на ложе и отправился к себе в спальню.

Он проснулся, охваченный ощущением беды и дождя. В зале с кленом Сайоко составляла список

---

[48] Примечания: 48

Раку — разновидность японской керамики, используемой в японских чайных церемониях, чаще всего в виде чайных чаш.

покупок и краем глаза приглядывала за Кейсукэ. Горшечник храпел, уткнувшись головой в диванный валик и свесив одну ногу; вторая нога торчала голая, так как штаны задрались выше колена. Шел дождь, восточные горы исчезали под непрерывно сползающими выбросами тумана. В дверь позвонили, Сайоко вышла в прихожую и вернулась с охапкой вишневых ветвей в руках. Хару посмотрел, как она расставляет их в большой глиняной вазе с потрескавшимися боками. Ее движения были хирургически точными, лишенными малейших колебаний, навеянными, как и все, что она делала, дыханием тысячелетнего знания. Она закончила с ветками, Кейсукэ открыл глаза и воскликнул:

— О! Неплохая ваза!

Хару засмеялся:

— Как и гончар.

— Она что, моя? — спросил Кейсукэ.

— Твоя.

Они поболтали за чаем, выкурив по сигаретке. Ближе к одиннадцати Сайоко, беспрерывно сновавшая по дому, остановилась у оконного проема, выходящего на реку. Она словно вглядывалась в серую магму пейзажа, потом поднесла руку к груди.

— Все хорошо? — спросил ее Хару.

— Не знаю… — сказала она.

Встревожившись, он поднялся.

— Нет, — сказала она, — со мной все в порядке.

Она повернулась и ушла на кухню, Хару и Кейсукэ переглянулись.

— Мне это не нравится, — сказал гончар. — Ты же знаешь, что у нее дар предвидения?

— Ты смеешься над религией и веришь в дар предвидения? — развеселился Хару.

— Я верю в человеческие существа и их таланты, — возразил Кейсукэ.

В полдень они вышли из дому, и Хару сел на поезд до Токио. Вторая половина дня была посвящена деловым встречам, а вечером он устроил ужин с обильными возлияниями, во время которого заключил одну из самых крупных сделок в своей карьере. В свою квартиру в Хонго он вернулся часа в три ночи. Зазвонил телефон. Он снял трубку и услышал голос Сайоко, сказавший:

— Таро-сан убился.

— Убился? — повторил ничего не понявший Хару.

— На Окинаве, на острове Дзамами, — сказала она. — Неудачный прыжок в воду. — Ее голос был холодным, механическим. После паузы она

добавила: — Я должна была знать.

— Никто не может знать, — сказал Хару и, помолчав, сказал: — Я возвращаюсь первым же поездом.

Он успел на пятичасовой «Синкансэн»[49] и в восемь уже был дома. Дверь ему открыла Сайоко. В зале с кленом он нашел Кейсукэ — тот сидел, прислонившись спиной к стеклянной клетке.

— Умереть в шестнадцать лет на Дзамами: судьба знает толк в жестокости, — сказал горшечник.

Хару сел рядом с ним.

— Это там я полюбил Саэ.

Он взял сигарету, протянутую ему Хару.

— Судьба рубит свои ветви, — продолжил он. — Что ты на этот раз придумаешь, чтобы меня утешить?

Хару ничего не сказал.

— Они перевезут тело сегодня, — снова заговорил Кейсукэ. — Нобу приезжает утром. Знаешь, пляж Фурудзамами такой красивый.

Он глубоко затянулся.

— Самое ужасное, — сказал он, — что снова придется терпеть монахов. Ладан, монахи, сутры, дурацкие подношения в красивых конвертах и

---

[49] Примечания: 49

«Синкансэн» — сеть высокоскоростных железных дорог, соединяющих главные японские острова.

снова монахи.

Во время отпевания Хироси, брат Кейсукэ, достойно провел обряд. На следующий день на похороны пришла туча народу.

— Они пришли ради тебя, ради Нобу, ради Таро, Саэ и Йоко, — сказал Хару, обращаясь к Кейсукэ.

Горшечник бросил на него пустой взгляд и зарыдал с таким душераздирающим отчаянием, что Хару отвел его в сторону, подальше от глаз его последнего сына, и Кейсукэ долго плакал в ауре дружеского молчания. В конце похорон он взял слово и, согласно обычаю, поблагодарил присутствующих. Ссутулившись, с сухими глазами, он говорил, не сводя глаз с Нобу, единственного своего выжившего ребенка.

— Пока ты здесь, я хочу жить, потому что ушедшие оставили после себя разрушительную пустоту, но твое присутствие наполняет мою жизнь, — сказал он. — Знай, что, останься я один, я бы вызвал властителей смерти и сказал им: «Я вас не боюсь». Но я не одинок, и, если жизнь еще даст хоть один-единственный час озарения души, я хочу, чтобы мы прожили его вместе.

* * *

Несколькими днями позже Хару, Томоо и Кей-

сукэ встретились вечером в доме-паруснике на Синнё-до, где Томоо подал всем саке. Они потягивали его, грызя сэмбеи[50], и молчали, слышно было только похрустывание крекеров и стук чашечек, опускающихся на стол. Час спустя Томоо встал и поставил пластинку на проигрыватель.

— Элла Фицджеральд и Джо Пасс, — сказал он. — Песня была написана иденом ахбезом[51]. Через несколько лет он потерял своего сына Татху, тот в двадцать два года утонул.

Они послушали песню, Хару повторял слова по-английски и переводил их для Кейсукэ.

There was a boy
A very strange enchanted boy
They say he wandered very far, very far
Over land and sea
A little shy and sad of eye

---

[50] Примечания: 50

Сэмбей — традиционный хрустящий рисовый крекер.

[51] Примечания: 51

Иден ахбез, Джордж Александр Аберле (1908–1995) — американский автор песен и исполнитель, протохиппи, чей образ жизни в Калифорнии повлиял на движение хиппи, возникшее позднее. Взял себе имя иден ахбез (eden ahbez) и настаивал на том, чтобы оно писалось со строчных букв, утверждая, что только слова «Бог» и «Бесконечность» достойны писаться с большой буквы. Далее цитируется его песня «Nature Boy» («Дитя природы», 1948), впервые исполненная Натом Кингом Коулом, а впоследствии ставшая джазовым и поп-стандартом.

But very wise was he
And then one day
A magic day he passed my way
And while we spoke of many things
Fools and kings
This he said to me
«The greatest thing you'll ever learn
Is just to love and be loved in return»[52]

— О! — сказал Кейсукэ. — Любовь! Ты что себе думаешь? Любовь убивает нас!

Но при этом посмотрел на Томоо с признательностью. Они снова выпили, и он сказал:

— Хару одарил меня своим молчанием, а ты — этой песней.

---

[52] Примечания: 52

Жил-был один парень
очень странный, зачарованный парень.
Говорят, он бродил очень далеко, очень,
за долами и морями.
Немного застенчивый и с печалью в глазах,
но он был очень мудрым.
И вот однажды
в один чудесный день он встретился мне на пути,
и когда мы с ним говорили о многом,
о шутах и королях,
он сказал мне вот это:

«Величайшая вещь, которой ты когда-либо научишься, — это просто любить и быть любимым в ответ» (англ.).

Перев. С. Горкун.

И вечер прошел между мраком и светом. В следующие месяцы Кейсукэ сделал несколько керамических ваз и серию чудесных каллиграфий, а Хару устроил в Киото и Токио две выставки, имевшие большой успех.

— Хоть я и отстегиваю тебе кучу денег, все равно богатею, — сказал Кейсукэ. — Ты, конечно, говнюк-торговец, но работаешь ты действительно классно.

Параллельно с деловой жизнью Хару продолжал вести тайную жизнь отца. Вскоре Розе исполнилось девять лет. Некоторые фотографии, сделанные с помощью телеобъектива, показывали ее за пределами усадьбы, пешую или на велосипеде, маленькую радостную исследовательницу, запыхавшуюся, но неизменно полную жизни. Как-то утром Сайоко, нарушая данный самой себе зарок, остановилась перед одним из снимков. Был январь, шел снег, Хару курил у себя в кабинете, просматривая деловые отчеты; он поднял голову и увидел, что она застыла перед фотографией. Роза на ней хохотала от души в съехавшей набекрень шапочке, держа что-то в руках. Съемка велась издалека, и разглядеть предмет было невозможно. Позади девочки на веранде угадывался смутный силуэт.

— Котенок, — сказала Сайоко, и после паузы: — И тень.

Последние слова обеспокоили Хару, но шли месяцы, и ничто не предвещало тревогу, пока не наступил десятый день рождения Розы. Для двадцатого октября погода стояла необыкновенно прекрасная и теплая — не преминул отметить наблюдатель, — и на фотографиях девочка была в пальтишке, в саду, перед тортом со свечками. Несмотря на полученные указания, наверняка по недосмотру, справа от нее на снимке сидела Мод, грустная и съежившаяся, но с улыбкой. Эта улыбка вогнала Хару в такую растерянность, что он не спал всю ночь. Она открывала перспективу, о которой он годами запрещал себе думать. Она нашептывала: «А вдруг?..» И он напевал: «А вдруг? а вдруг? а вдруг?» — на неотвязный мотивчик, который преследовал его весь день. Под все ту же баюкающую литанию он поработал, сходил в хранилище, сделал массу звонков. В пять часов он набрал в грудь воздуха и уже собрался позвонить в Париж Манабу Умэбаяси, но в тот момент, когда он протянул руку к трубке, телефон зазвонил. Это был Ясудзиро, бывшая правая рука Рю Накамуры, ставший тем же для Бет. Он сказал только:

— Вы должны приехать в Итидзё.

— Прямо сейчас? — спросил Хару.

— Прямо сейчас, — ответил тот.

Хару вышел, взял такси и направился в сторону императорского дворца. Когда машина, оставив позади темный дворцовый комплекс, свернула на Итидзё, улицу, где проживало семейство Накамура, он издалека увидел огни мигалок. Ясудзиро ждал его перед домом с таким перевернутым лицом, что Хару с трудом его узнал.

— Бет? — спросил Хару.

— Уильям, — ответил Ясудзиро.

Хару пошел за ним в квартиру, на лестнице они столкнулись с полицейскими, которые спускались с хмурыми лицами. Семья Накамура занимала весь последний этаж, из широких окон гостиной открывался обширный вид на южную часть города. Вдали виднелись вокзал и башня-гриб, слева — храмы вдоль восточных гор, справа — храмы у гор западных, окутанных темным бархатом надвигающихся сумерек. На диване сидела Бет, поднявшая на него глаза — жесткие глаза, от муки ставшие черными. Она сделала ему знак присесть напротив, на другую софу, и Ясудзиро вышел из комнаты, пробормотав:

— Я буду в кабинете.

— Поговори со мной, — сказал Хару. — Я не

знаю, что произошло.

Она сделала жест, означавший *подожди*, и он стал ждать.

— Он захотел уйти, — произнесла она в конце концов.

И издала жуткий горловой смешок.

— Уйти?.. — переспросил Хару.

— Он покончил с собой.

Хару посмотрел на Бет, а через ее плечо на горы, где сверкали искусственные огни ночи. Он не чувствовал ничего. «Какое японское имя было у Уильяма?..» — спросил он себя, и на него нахлынула волна печали и ужаса.

— Сиди на месте, — сказала она. — Если пересядешь ко мне, я сломаюсь.

Она провела рукой по лбу.

— Как можно любить и быть до такой степени слепой? — Она указала пальцем на лежащий перед ней листок бумаги. — *Я ухожу*, — прочла она. — Он написал только: «Я ухожу».

Она с трудом сглотнула.

— Других объяснений не будет. Не знаю, сумею ли я это пережить. Не знаю даже, смогу ли заплакать.

— Ты поплачешь позже, — сказал Хару, — но сейчас нужно многое сделать, положись на ме-

ня.

— Об этом я и хотела тебя попросить, — сказала она. — Займись всем, а я займусь собой.

Он занялся всем. На похоронах Бет не плакала, спокойно принимала соболезнования. Сорок девять дней спустя он сопровождал ее на кладбище, чтобы захоронить урну в родовом склепе Накамура. Рядом с именами Рю и Уильяма она велела выгравировать свое собственное, но красными буквами.

— Этот обычай начинают забывать, — сказал Хару.

— Я хотела покончить с жизнью, но, если я умру, кто вспомнит об Уильяме? Тогда я велела записать свою волю присоединиться к нему, не умирая.

— Боль повсюду, от нее не уйдешь, — сказал он. — Но временами, в некоторых местах, в присутствии некоторых существ ты будешь другой женщиной, которая снова может дышать.

Она посмотрела на него, он понял, что его слова принесли облегчение, и добавил:

— Я это услышал от другой замечательной женщины. — И невольно добавил: — От другой иностранки.

* * *

Наутро Бет в одиночестве отправилась в Нандзэн-дзи. Она заплатила за вход, разулась, натянула жуткие храмовые тапочки из искусственной кожи и прошла по темной галерее до главного сада. Всю ночь шел снег, и небо было бледным. От необыкновенной красоты открывшейся сцены забилось сердце, словно черно-белый контраст деревьев и заснеженных крыш по-другому раскрывал это место. Чистота форм — сглаженный белизной песок, нагота ветвей, припудренный черепичный скат — выражала благодать и страдание, любовь и отчаяние. Она почувствовала, как ее тело растворяется, а дух возносится куда-то — *вовне*, — где, впервые после смерти Уильяма, она может дышать. Это мгновение продлилось, потом она опустилась на колени на деревянный пол и разразилась спасительными рыданиями. Едва она встала, успокоенная и опустошенная, вернулась все та же жестокая боль. «Но я могу снова прийти сюда, когда захочу», — подумала она и ушла. Позвонила Хару, рассказала, как провела утро; повесив трубку, он долго размышлял над ее словами.

Начиная со своего десятого дня рождения Роза

на фотографиях представала в ином свете. Она больше не улыбалась и не смеялась, а у стоящей рядом Паулы был встревоженный вид. На поступающих из Франции снимках возникала все более угрюмая девочка, которую иногда радовал только ее кот. Рождество, очевидно, тоже прошло невесело — никаких праздничных фото в заснеженном саду с подарками в руках, а очередная порция, прибывшая в первом триместре 1990 года, только подтвердила дурные предзнаменования. Хару смотрел на снимки, невольно думал о Уильяме и спал плохо, мучаясь кошмарами и просыпаясь разбитым. В феврале он поехал в Такаяму навестить своих. Болезнь отца оставалась на том же уровне, голова работала не лучше, но и не хуже прежнего, что удивляло врачей, предрекавших постоянную деградацию; всякий раз, когда Хару спрашивал брата, как идут дела в коммерции, тот отвечал: «Управляемся». Эта зима не стала исключением, он приехал ближе к полудню, провел немного времени в лавке, болтая с Наоя обо всем и ни о чем, потом двинулся к отчему дому. Там он застал родителей в неплохом расположении духа, и в тот момент, когда отец вышел за дровами, мать сказала: «Он притормозил, это хорошо». Они пообедали домбу-

ри[53] с курицей под теплое саке. В конце трапезы Хару спросил, каким ребенком он был в десять лет, отец встал, вышел из комнаты и вернулся с картонным квадратиком. На снимке тридцатилетней давности Хару стоял на берегу за домом, наполовину развернувшись к объективу. На заднем плане виднелись поток, заледеневшие ели и большой камень, увенчанный зимней шапкой.

— Сделано в утро твоего десятилетия, — сказал отец, засмеялся и добавил: — Ты получил велосипед и собрался ехать в Такаяму.

Казалось, он был счастлив вспомнить о том дне, хотя у самого Хару сохранились только самые смутные образы. Он вгляделся в пожелтевшее изображение.

— Можно я оставлю его себе? — спросил он, и мать кивнула.

На обратной дороге из Такаямы он удивлялся, как отец умудряется сохранять подобное равновесие духа. «Он и здесь, и где-то вовне, — говорил себе Хару, — он лавирует между двумя мирами, но связь между нами теперь возможна только через тот день, когда мне исполнилось десять». Залитые солнцем вершины, казалось, гнали его

[53] Примечания: 53

Домбури — традиционное японское блюдо, чаша с рисом, поверх которого кладут различные добавки — мясо, рыбу, яйцо и т. п.

прочь, он сел на поезд, идущий в Киото, вернулся домой поздно, принял ванну, лег в постель и заснул неспокойным сном, где главным было чувство нежности и поражения. В момент, когда он уже просыпался, его посетило видение лисицы, неподвижно стоящей на сияющем льду, потом все обратилось в ничто, и он пошел в комнату с кленом, куда Сайоко, выйдя из кухни в кремовом кимоно, принесла ему чай. Он молча протянул ей фотографию.

— Volcano boy[54], — сказала она, внимательно рассмотрев. — Тот же взгляд.

Тот факт, что Роза, какой бы рыжей француженкой она ни была, похожа на него, совершенно его не утешил. Если «давать» означало «понимать», то он не понимал и ничего не давал, а к тому же не мог ни с кем поговорить о Розе и произошедшей в ней перемене. Судья и светоч на пути женщин, Сайоко так и не стала его наперсницей — они понимали друг друга, но не сочетались: каждый был странен слишком по-своему и невозможно было свободно разговаривать. Ни разу не задавшись вопросом о причине, он также не мог довериться Томоо или Кейсукэ, а смерть Уильяма пролила

[54] Примечания: 54
Вулканический мальчик *(англ.)*.

свет на то, почему он ничего никогда не говорил Бет. Они продолжали регулярно видеться, но больше не спали друг с другом. Трагедия развела их телесно, в то время как дружба осталась неизменной, но окрасилась в мрачные тона, которые он все чаще ощущал и в других аспектах своей жизни, словно что-то у него внутри чуть сдвинулось, незаметно, но неумолимо разлаживая ход его дней. Именно в это время его любовницей стала японка, вернувшаяся после десяти лет, проведенных за границей с мужем-дипломатом. С ней он открыл новую манеру заниматься любовью — напряженную и лихорадочную, ранее ему несвойственную. За исключением Мод с ее холодной и непостижимой пассивностью, секс всегда был для Хару забавной и легкой игрой. Он любил покорять и дарить оргазм и видел в этом чудо, в котором так же мало драматичного, как и в вечеринке с саке. Случалось, что некоторые любовницы становились его друзьями, и они разговаривали с той свободой, которой дамам не хватало с мужьями или, довольно часто, с собственными подругами, но даже тогда он умел сохранить за сексом легкость и очарование без обещаний на будущее. Эми, напротив, вошла в его жизнь и постель с той жаждой, которая не

оставляла места для дружеской болтовни. Она хотела его и втягивала в страстный водоворот, а он не мог понять, что именно — сила ее желания или помрачение его собственного рассудка — позволяло ему держаться в этом водовороте на плаву, но чувствовал, что только цикличность проклятий сделала возможным то, от чего раньше он бы отстранился. Однажды вечером, когда Эми сидела напротив него в ванне, обнаженная, доступная, ждущая, он внезапно ощутил неудержимый порыв поговорить с ней о Розе. Стояло лето, пение цикад звучало с пронзительностью сирены, женщина смотрела на него с той смесью желания и сочувствия, которая так близка к любви, что соблазн был велик — но соблазн чего? спросил он себя, ужаснувшись огромности того, что собирался сделать. Она заметила его колебания и придвинулась. Он посмотрел на ее изящные губы, и на него нахлынуло такое желание, что он вошел в нее прямо в воде, тесно прижал к себе, словно пытаясь слиться с ее телом, пока наконец эти отчаянные объятья не лишили его сил. Позже в спальне они прикурили одну сигарету, и она уселась, прислонившись спиной к стене и скрестив перед собой ноги.

— Поговори со мной, — сказала она.

Он не смог. На следующей неделе они встретились на официальном приеме, где Хару был с Томоо и Кейсукэ, а Эми с мужем. Прием проходил в одном из салонов отеля «Окура», и Хару занимался тем, что раздавал визитки и поддерживал связи. Через час Кейсукэ, мирно надравшись, устроился в кресле, где и похрапывал втихаря. В какой-то момент он открыл глаза и увидел перед собой Эми, которая смотрела на Хару. Несколько дней спустя мужчины обедали вдвоем в новом ресторане тонкацу[55] в крытой галерее на улице Сандзё.

— Ну и как тебе эта женщина? — поинтересовался Кейсукэ.

— О чем ты говоришь? — спросил Хару, прекрасно знавший, что имеет в виду друг.

— О возможности любить, если только ты на это решишься.

Хару не ответил, они прикончили свою свинину в панировке вместе с капустой в соусе юдзу и вышли на торговую галерею. Она заканчивалась метрах в тридцати, а дальше, до лесистых склонов восточных гор, простиралась Сандзёдори с ее бетоном и светящимися вывесками. В

[55] Примечания: 55

Тонкацу — ресторан, где готовят блюдо японской кухни — зажаренную во фритюре свиную отбивную.

волнах летней жары урбанистическое уродство казалось еще отвратительнее, а тусклые, тесно сдвинувшиеся скаты крыш не пропускали лучи света. Темный угрюмый лес недовольно ворчал, изборожденный оскорбительным неоном современного города. Они в молчании посмотрели на эту смесь старины и новой Японии, прежде чем распрощаться. Хару двинулся домой пешком вдоль реки среди бегунов, гуляющих зевак, велосипедистов и мамаш, толкающих перед собой коляски. Опаленные летней жарой дикие травы склоняли к воде свои султаны, текла река, безразличная и светлая. Он вернулся к себе, разулся, принял душ и, освеженный, уселся перед кленом за низкий столик, на который Сайоко выкладывала почту. На подносе одиноко лежал единственный конверт с французской маркой, с его именем и адресом, написанными крупным изящным незнакомым почерком.

* * *

В конверте была фотография Розы в саду. На заднем плане белые летние лилии скрывали сухую каменную кладку стены. Справа виднелась долина Вьенны. Девочка в зеленом платье с оборками смеялась, сморщив носик. Хару пе-

ревернул снимок и прочел единственное слово, написанное на обороте черными чернилами: Паула. Его сердце забилось, и следующий час он провел, перебирая возможные версии. Как Паула раздобыла его адрес? Он был написан на обратной стороне письма, которое Хару когда-то послал Мод. Знала ли она, что он наблюдает за Розой? Не исключено, хотя послание могло быть отправлено, как бросают бутылку в море. Чего она хотела? Он рассматривал снимок, не находя в нем ключа к разгадке, но грудь его сжалась. Наконец появилась Сайоко в сопровождении Мэй, молодой женщины, которая убиралась в доме, он поболтал с ними, прежде чем они отправились на кухню, потом, снова опустив глаза на снимок, понял: это была последняя фотография перед срывом. Роза на ней была еще счастливой, а на всех последующих — грустной и замкнутой, в пелене несчастья. Паула Ардан послала ему отпечаток ушедшего счастья — ее собственного, ее внучки и, как она, возможно, подумала, счастья Хару. Он пошел в кабинет и спросил совета у своих гор. Он чувствовал себя в тисках проклятий. Подумал, не написать ли Пауле, но испугался, что Мод об этом узнает, и, когда на Киото обрушился прямой теплый дождь, в очередной раз ясно увидел, что

формула его жизни остается неизменной. Однако, взволнованный тем, что на другом конце света эта исполненная изящества женщина, оказывается, знает о его существовании, он утешился, как мог, этой успокоительной мыслью. Под неотступным ласкающим знаком этого послания Паулы прошли недели, месяцы и годы, в вязком осознании все той же невозможности. Дела процветали, женщины сменяли друг друга, Роза росла, сумрачная и меланхоличная, Мод чахла. Он видел, как его дочь пошла в коллеж, потом в лицей в своем городе, постоянно окруженная кордоном улыбающихся друзей, — но понимал: истинные угрозы невидимы и друзья не смогут таким образом ее защитить.

Семнадцатого января 1995 года он спал в своей квартире в Токио, когда в половине седьмого утра зазвонил телефон. Он услышал, как Сайоко говорит:

— В Киото все в порядке, но у Сигэру нет известий от его матери, все линии заблокированы.

Хару вспомнил, что семья ее мужа живет в Кобе, и спросил:

— Сколько баллов?

— Еще не сказали, — ответила она, — но сильное.

Он встал и включил телевизор. «Землетрясение мощностью шесть баллов и магнитудой семь по шкале Рихтера, — говорил телеведущий. — К несчастью, подземные толчки произошли на малой глубине под островом Авадзи и сейсмические волны не успели ослабнуть». Первые кадры свидетельствовали о разрушении зданий, дорог, подвесного автомобильного моста в Хансине между Осакой и Кобе, а также о множестве пожаров, охвативших весь район. Как и все японцы, увидевшие эти картины, Хару подумал: «Выжившие при землетрясении погибнут в огне», и ему стало трудно дышать. Накануне он должен был ужинать с клиентом в Кобе, переночевать в тамошнем отеле и сесть утром в «Синкансэн», идущий в Токио. Однако в последнюю минуту клиент отменил встречу: комнату, где он собирался поставить ширму, которую покупал у Хару, только что затопило. Он позвонил и со смехом сказал:

— Эти татами как губки, лучше продайте мне морские звезды.

Когда Хару сумел наконец дозвониться до него две недели спустя, тот сказал:

— Мы живы, но у меня больше нет дома. Знаете, кто раздавал здесь одеяла, лежаки, воду и быст-

рорастворимые супы сразу после толчков? Не правительство, не мэрия и не местная администрация — им понадобилась неделя, чтобы как-то все организовать. И не иностранные власти, чью предложенную помощь наш премьер-министр так вежливо отклонил. Выжить в холоде нам помогли якудза. Мы могли рассчитывать только на японский народ и на Ямагути-гуми[56].

Хару перевел значительную сумму на помощь жертвам землетрясения и выслал предметы первой необходимости тем пострадавшим, с которыми был знаком лично. Но истинное пожарище для него заключалось совсем в другом. После того как клиент отменил встречу, он в середине дня решил поехать в Токио и поужинал там в одиночестве, как он любил, в соседнем рамэн-я[57]. Там он завел долгий внутренний диалог с Розой, который ледяное пиво сделало особенно приятным. Через несколько дней, глядя на кадры с опустошенными окрестностями отеля в Кобе, где он собирался остановиться, Хару почув-

---

[56] Примечания: 56

Ямагути-гуми — самая известная преступная группировка в японской мафии якудза, названная в честь Харукити Ямагути, основавшего ее в 1915 году; ее штаб-квартира находится в Кобе.

[57] Примечания: 57

Рамэн-я — ресторанчик, где подают суп рамэн, японское блюдо из бульона с пшеничной лапшой.

ствовал, что катастрофа Хансин-Авадзи пробила новую брешь в ткани его существования. Он думал, что не боится смерти, но теперь понимал, что это неправда. Уйти из этого мира, так и не дав Розе возможности узнать его, означало допустить полное собственное исчезновение. Как отец, оставшийся в безвестности, он становился окончательно смертным и чувствовал, что его жизнь еще более омрачилась.

В июне 1997 года Роза получила диплом бакалавра с отличием, и он отправился в «Мэйди-я»[58] на улице Сандзё за бутылкой шампанского, которую и откупорил тем же вечером в обществе Кейсукэ.

— Экая гадость, — сказал горшечник после первого глотка. — И с чего мы должны этим давиться? Нарисовалась еще одна француженка?

Хару не ответил, и они перешли на саке. Роза уехала в Париж получать высшее образование, и он узнал, что она выбрала ботанику. В столице она жила в старой квартире, принадлежавшей матери, в десяти минутах хода от вокзала Монпарнас, откуда отправлялись поезда в Турень. На снимках она была запечатлена в самых разных,

---

[58] Примечания: 58

«Мэйди-я» — японская сеть элитных продуктовых магазинов.

иногда необычных ситуациях, и Хару часами разглядывал фото. У нее были друзья, поклонники, она была не прочь развлечься, ходила на вечеринки, но редко улыбалась. Однажды фотограф застал ее на террасе кафе перед раскрытой книгой, в другой раз — гуляющей в одиночестве по аллеям Люксембургского сада. От обоих снимков исходила такая печаль, что Хару начал ненавидеть Париж, его чванливые здания, симметричные сады, пристрастие к позолоте и кованому металлу. А полюбил бы он этот город, если бы Роза была там счастлива? Вряд ли: ему не нравилась его архитектура, от которой несло властью и гордыней. Он ощущал в своей дочери гармонию песка и мха, оказавшихся пленниками в недружественном окружении. Он чувствовал в ней биение японского сердца, которое ничто вокруг не позволяло ей расслышать. Он видел, как на нее давят страдания ее матери и сила собственной крови, она была угрюмой, но стойкой в несчастье, замкнутой, но необычной, отстраненной от собственной жизни, но цельной. Он задавался вопросом, кто из них, он сам или Мод, в конечном счете возьмет верх, и так пролетело, как проносятся тучи, целое десятилетие, отмеченное редким постоянством — дела, женщины,

отчеты и фотографии из Франции, — пока однажды утром, а случилось это в 1999 году, в Киото не приехал молодой человек по имени Поль Дельво.

Вовне





Хару встретил его у одной из клиенток, дом ко-

торой находился в северной части города, рядом со святилищем Камигамо, которое Хару любил за близость к дикой природе северных гор. Там он и прогуливался в ожидании назначенного часа встречи. В бледном зимнем тумане — дело было восемнадцатого января — тории напоминали одноцветную радугу. Соседний девственный лес Тадасу наделял эти места аурой изначальности и святости. На лужайке между деревьями Хару заметил двух косуль и почувствовал, что скоро пойдет снег. Первые хлопья упали в тот момент, когда он звонил в дверь Харады-сан. Ему открыла молодая женщина и провела в гостиную, где сидели пожилая дама и европейского вида молодой человек. Оба они расположились за низким столиком у окна, выходящего во внутренний сад, и в первый раз Хару увидел Поля на фоне бамбука, папоротников и одного из самых красивых каменных фонарей, которые когда-либо попадались ему на глаза. Фонарь не отличался от других в том же традиционном стиле — мидзуботару, — но обладал, по мнению Хару, идеальными пропорциями. Дом был ему под стать, старинный и благородный, с широкими коридорами, повсюду натуральное дерево, в альковах чудесные вазы, на стенах великолепные каллиграфии.

Харада-сан практически никогда не покидала своего жилища, но люди охотно посещали эту миниатюрную, всегда улыбающуюся женщину, очень богатую, страстную почитательницу чая и искусства; она была одной из тех клиентов Хару, которым он не стремился что-то продать. К ней он приходил *провести время*. Когда она покупала, он снижал свой процент. Он трудился ради великого дела искусства, а не ради делового успеха, тщета которого растворялась в совершенстве фонаря мидзуботару.

После традиционных приветствий она представила их друг другу. Молодого человека звали Поль Дельво — она с трудом выговорила его имя, он повторил его по буквам; Поль приехал из Бельгии, говорил по-японски и принял предложение обучать ее французскому языку.

— Французскому? — удивился Хару.

— Давняя мечта, — сказала старая дама. — У меня только и осталось времени, что на осуществление мечты, не так ли?

Молодая женщина принесла им сосуд с матча и нэрикири[59] в форме камелии, и Хару положил

---

[59] Примечания: 59

Нэрикири — традиционные японские сладости из фасолевой пасты или ямса, сахара и рисовой муки. Для цвета добавляют красители и создают соответствующие сезону цветы, растения, птиц.

перед Харадой-сан предмет, обернутый в розовый шелк.

— А, — сказала она, — догадываюсь, что тут не обошлось без нашего друга Сибаты-сан, верно?

Они в молчании выпили чай, любуясь снежными хлопьями, падавшими на маленький сад, и Хару обратил внимание, что европеец умеет молчать. Когда Харада-сан попросила убрать чай, он спросил, что привело гостя в Киото. Молодой человек ответил, говоря правильно, медленно, вежливо. Они с женой учили японский в Брюсселе и получили стипендию на завершение образования в Киотском университете, самом престижном учебном заведении города. Он сказал, что они очутились в средоточии своей мечты, а Харада-сан добавила, что да, так и нужно, человек должен мечтать.

— Кстати, — заметила она, — жизнь и сама лишь долгое мечтание.

Снова повисла пауза, и Харада-сан развернула розовый фуросики[60]. Достала коробку из светлого дерева, перехваченную плоской лентой с оранжевым кантом. Развязала ее и вынула из футляра белую вазу. По опыту неоднократных

[60] Примечания: 60

Фуросики — квадратный кусок ткани, используемый для завертывания и переноски предметов любых форм.

встреч Хару понял, что она в восторге. Старая дама пояснила Полю, что ваза предназначалась для празднования пятидесятой годовщины ее пребывания в этом доме — священник из Камигамо прочтет благословение, она велит подать чай. Эту вазу она собирается поставить под каллиграфию со стихом Рёкана[61].

— Но мне хотелось чего-то сегодняшнего, — добавила она, — если ты стар, это не значит, что следует отворачиваться от нового.

Она улыбнулась, отчасти в пустоту. Посмотрела на вазу. После паузы сказала:

— Она вся здесь и сейчас.

Хару наклонился, опустив глаза. Подняв их на Поля, он узнал в его взгляде то особое выражение, сосредоточенное и не осознающее себя, которое возникает, когда в жизни случается решающая встреча. Внешний лоск воспитанного человека скрывал сложность внутренней жизни, и Хару понравилось это сочетание сдержанности и напряженности.

— Вы интересуетесь искусством? — спросил он молодого человека.

— Я только искусством и интересуюсь, — от-

---

[61] Примечания: 61

Рёкан Тайгу (Ямамото Эдзо; 1758–1831) — выдающийся японский поэт, каллиграф и философ.

ветил тот.

— Может, это фамильная черта?

— Я из семьи мелких брюссельских промышленников, к тому же протестантов, которым совершенно безразлична форма предметов, — со смехом ответил Поль. — На столе всегда самая простая супница и самое дешевое вино.

Они поговорили о том о сем, и Хару сделал комплимент его прекрасному японскому.

— Тут моей заслуги немного, мой лучший друг в Брюсселе был из Токио. Когда я приступил к учебе, он больше вообще не говорил со мной по-французски. Но моя жена говорит еще лучше меня.

Он повернулся к саду с его бамбуком и папоротниками, припорошенными свежевыпавшим снегом.

— Я приехал сюда, чтобы погрузиться в определенную форму искусства и культуры. Вы поставили на стол средоточие и того и другого.

Он посмотрел на вазу.

— Кто ее автор?

— Кейсукэ Сибата, гончар из Токио, — ответил Хару, — но еще и мой друг.

— Все наследие цивилизации, преломленное сквозь призму одного-единственного челове-

ка, — тихо произнес Поль.

Хару откланялся и удалился под падающим снегом. Он вернулся домой с ощущением странной легкости. Когда Сайоко принесла ему в кабинет чай, он сказал:

— У меня сегодня была одна любопытная встреча. — А потом уточнил: — С молодым человеком из Бельгии.

— Из Бельгии? — неприятно поразилась она. — И где вы его встретили?

— У Харады-сан.

Она, казалось, облегченно выдохнула.

— Лучшего места для встречи не сыскать, — сказала она с намеком на очистительные свойства леса или, возможно, на власть святилища над всеми зловредными силами вселенной.

«Зеленый свет всему, что касается Бельгии», — подумал Хару, после чего погрузился в дела и больше не вспоминал о Поле Дельво. Он вышел из дому около четырех часов, отправившись на встречу с Бет. В коридоре чайного дома недалеко от ее квартала он столкнулся с бельгийцем. Его сопровождала укутанная в оранжевое пальто молодая женщина, маленькая, с темными волосами, полная противоположность высокому светловолосому Полю. Клара, как представил ее

муж, говорила на отточенном японском, причем с такой текучестью и тонкостью, что Хару был покорен.

— Вы любите искусство, — сказал он Полю, — так приходите ко мне послезавтра на день рождения. Там будут друзья-художники, в том числе и гончар, чью вазу вы видели сегодня утром.

Заметив, что молодой человек удивлен, Хару добавил:

— Я знаю, что здесь не принято с такой легкостью приглашать к себе. Но я в некотором роде оригинал, это вам любой скажет.

Позже, вечером, он с удовольствием вспоминал молодую бельгийку — то ли все дело было в оранжевом пальто, то ли в том, что ее родным языком был французский, то ли в шаловливой улыбке? Хару думал о ней и о Розе и чувствовал, что подпал под очарование. Около полуночи он вышел из дому, чтобы присоединиться к Кейсукэ в одном из баров в центре, и обнаружил того в компании нескольких завсегдатаев и Жака Меллана, которого с удовольствием поприветствовал. Спросил, как дела у его сына.

— Эдуар в Шанхае, — ответил Меллан, — он отлично ведет дела с китайцами, для меня это одной головной болью меньше.

Хару заметил, что француз плохо выглядит, и после обмена новостями тот сказал ему что-то, но в царившем вокруг гомоне он плохо расслышал, хотя вроде бы понял. Прибыли новые собутыльники, все пересели, Меллан заговорил с Томоо, а Кейсукэ рухнул рядом с Хару. Торговец сказал ему, что Хараде-сан понравилась ваза и, вероятно, она ее купит; гончар расхохотался.

— Чтобы засунуть ее под какое-нибудь красивое дурацкое стихотворение, — заметил он.

Но когда Хару двинулся в обратный путь к Камо в вихре мельтешащих снежинок, он снова с ощущением огромной свежести подумал о стихах Рёкана, о Кларе Дельво, о Розе и о саде в доме у Камигамо. Он принял ванну, немного почитал и заснул мирным сном.

сад в покое
когда камелия
дарит свою белизну

* * *

На свой день рождения он заказал белые камелии, которые Сайоко с сосредоточенностью атлета разместила в большой темной вазе. В семь часов ввалилась компания под предводи-

тельством Кейсукэ. В течение вечера к гостям присоединились многие другие. Когда появилась Бет, Кейсукэ низко перед ней склонился.

— Железная Леди, — сказал он. — Из скольких горемык твоя империя выпила кровь на этой неделе?

— По крайней мере, я не вешаю красивых стишков над твоими шедеврами, — парировала она.

— Ну ты и предатель, — сказал Кейсукэ Хару.

Чуть позже появилась чета Дельво, и Клара произвела на Хару такое же освежающее впечатление, что и два дня назад. На ней было бледно-розовое платье, простое, но элегантное, и он подумал о Розе и о косулях в священном лесу Тадасу. Рядом с ней улыбался высокий, светловолосый, сдержанный Поль, Хару представил их кое-кому из гостей, и вечер продолжился. Друзья-музыканты играли на кото и на сямисэне[62], а Сайоко приносила из кухни канапе на французский манер, которые Кейсукэ подозрительно обнюхивал.

— Однако готовил их французский шеф-повар, — заметила Бет. — Пора бы тебе выбраться со своего острова.

---

[62] Примечания: 62

Кото — японский щипковый музыкальный инструмент. *Сямисэн* — японский трехструнный щипковый музыкальный инструмент.

— Весь мир — остров, — возразил он, вгрызаясь в маленький тост с фуа-гра под соусом терияки.

Клен в стеклянной клетке изгибался под снегом, Хару переходил от одной группы к другой, но осознавал, что его взгляд постоянно возвращается к Кларе и Полю. «Мне нравится их присутствие», — сказал себе он, наблюдая, как молодая женщина смеется, разговаривая с Томоо. Ближе к десяти вечера Кейсукэ, совершенно пьяный, затянул новогоднюю песню, заменив поэтичные слова на нечто вполне непристойное, и Хару отметил, что Поль смеется и много пьет, совершенно не хмелея.

В одиннадцать вечера Жак Меллан позвонил в дверь на Камо, и ему открыла Сайоко, уже уходившая домой. Она поднесла руку к сердцу.

— Вы меня больше не смущаете, вы союзник, — сказал ей Жак Меллан по-французски, — теперь я это знаю.

Она ушла. Увидев его, Хару подошел ближе, и они уединились в уголке зала. Там они заговорили по-английски.

— Позавчера в баре я понял, что вы меня не расслышали, — сказал Меллан, — поэтому сейчас повторяю в более спокойной обстановке: полагаю, это мое последнее пребывание в Киото.

— Я не удивлен, — сказал Хару. — Видно, как вы устали.

— Это не просто усталость, — сказал Меллан. — Как бы то ни было, я хотел вас увидеть, чтобы сказать одну вещь, которую вы уже знаете, но на пороге смерти проявляется неожиданное кокетство. Уж не знаю, с чего я стал так болтлив, — я всегда шарахался от любых сентиментальных штучек.

— Вы любите искусство и любите своего сына, — сказал Хару. — Это вовсе не сентиментальные штучки.

— Я даже не знаю, что я люблю, — сказал Жак Меллан, — да и кому это сейчас интересно? Как бы то ни было, вот что я хотел вам сказать: жизнь подарила мне всего один час откровения, истинного озарения, и я его прожил благодаря вам.

— В Синнё-до, — сказал Хару.

— В Синнё-до, — подтвердил Меллан, — под эгидой небес, за которыми вянет сад высокий. Удивительно, что какое-то место может обладать подобной силой, но там я испытал глубокую радость, которая полностью примирила меня с самим собой. И знаете, что в этой истории самое примечательное? Я всегда считал себя человеком глубоко неудовлетворенным, который так и

умрет, пережевывая собственные сожаления. И вот в момент, когда пришла пора откланяться, я с восторгом говорю себе: тот час — я его прожил.

Он опрокинул залпом рюмку саке.

— Поймите, это не просто воспоминание, к которому я с радостью возвращаюсь, не то, что помогало мне пережить все остальные часы. Этот час вошел в мою плоть, кости и кровь, он целиком перелился в меня. Я весь — тот краткий и яростный час озарения.

У него вдруг сделался растерянный вид.

— Знаю, это звучит как бессмыслица.

— Ни в коей мере, — сказал Хару. — Это всё, чего я себе пожелаю, когда придет мой день.

Меллан постучал указательным пальцем по столу.

— Прежде чем распрощаться, я хотел попросить вас об одной милости.

— Я к вашим услугам.

— Мне хотелось бы, чтобы вы приглядывали за Эдуаром. Принимайте его у себя, делитесь советами, он очень многому сможет научиться у такого человека, как вы. Он не слишком уравновешен, но в нем есть стержень, вы увидите.

— Конечно, — сказал Хару, — можете на меня положиться.

Меллан откинулся на спинку дивана как человек, расслабившийся после долгого дня. «Время ничего не значит, — подумал Хару, — важны только ключевые моменты, остальное уходит, и мы смотрим на столпы, выступающие из тумана».

— Вы сохранили мою маленькую статуэтку? — спросил Меллан, имея в виду копию фигуры первобытной богини, которую он подарил Хару двадцать лет назад в благодарность за стихи Рильке.

— Конечно, — заверил Хару. — Это ведь копия скульптуры из Лувра, верно?

— Оригиналу, который нашли в Леспюге, в Верхней Гаронне, больше двадцати тысяч лет[63], — сказал Жак, — и он похож на некоторые ваши статуэтки догу[64]. Я знаю, что вы совершенно не интересуетесь западным искусством, но эти произведения — изначальный корень искусства вообще, у них нет национальной привязки, они

---

[63] Примечания: 63

Имеется в виду Венера из Леспюга — доисторическая 15-сантиметровая женская фигурка из слоновой кости, так называемая палеолитическая Венера (26–24 тысяч лет до н. э.); она была обнаружена в 1922 году в пещере Ридо близ деревни Леспюг на склонах французских Пиренеев и традиционно считается амулетом культа плодородия.

[64] Примечания: 64

Догу — японские глиняные фигурки людей или животных периода Дзёмон (13 000–300 годы до н. э.).

не принадлежат никакой территории. Позже все разветвляется, и каждому нравится отслеживать собственное потомство, но меня всегда глубоко трогала очевидность того, что все исходит из единой первичной матрицы, из универсального желания придать материи форму. — Он засмеялся чуть разочарованно. — В отличие от вас, я не питаю особой склонности к своей культуре, но целиком предан вашей.

— Мне не хватает воображения или смелости, — признался Хару, — но я восхищаюсь вашей способностью ценить то, что вам непривычно.

Француз смешался с другими гостями, много пил и много смеялся, приколол камелию себе в петлицу и удалился после полуночи, помахав рукой, как если бы собирался вернуться завтра. Хару проводил его глазами, потом, переведя взгляд на Поля, внезапно сказал себе: «Я японец, но ищу инородности — или же, напротив, отрываюсь от самого себя, чтобы тем вернее постоянно к себе возвращаться, я обречен неустанно ходить по кругу». Он присел рядом с молодым человеком и Кейсукэ, которые болтали, прислонившись к клетке с кленом.

— Бельгийцы не такие недоумки, как я думал, — изрек гончар, кивая на Поля. — Он хорошо

говорит, хорошо пьет, хорошо видит, а ему всего двадцать два года.

Перед глазами Хару изысканная белизна камелий слилась с мягким ветром печали, дующим внутри него.

— О чем вы говорили? — спросил он Поля.

— О его вазе, — ответил молодой человек. — Я и не знал, что можно быть и современным, и одновременно старинным. Это становится понятно, только когда перед глазами истинное произведение искусства.

Кейсукэ что-то пробормотал, мерно покачивая головой, и начал похрапывать.

— Вы то, чем я хотел бы стать, — сказал Поль, обращаясь к Хару.

Он произнес это спокойно, без всякой экзальтации, но Хару принял решение.

— Тогда работайте на меня, — сказал он.

* * *

Два месяца спустя Хару получил письмо от Эдуара Меллана. «Отец умер, — писал он, — но перед смертью попросил меня передать вам то, что я воспроизвожу дословно: *Я понял лисицу*». Хару задумался над возвращением в ткань его жизни легенды эпохи Хэйан ровно в тот момент, когда

с появлением Поля и Клары эта жизнь приняла новый оборот. На самом деле всякий раз, когда в своей профессиональной сфере он принимал решение, сочетавшее искренний порыв и расчет, формула оказывалась блистательной. Поль ему нравился; бельгиец, протестант, он говорил по-японски, любил искусство, умел пить и молчать: из него точно можно было сделать торговца. Вдобавок он был молод, и Хару провидел в нем ловкость без двуличности — а значит, со всех точек зрения игра стоила свеч.

— Что я должен уметь? — спросил Поль в тот вечер на дне рождения.

— Три вещи, — ответил Хару. — Ценить молчание. Никогда не торопить ход событий.

Он замолчал, Поль подождал, потом улыбнулся:

— И не опаздывать, полагаю.

Хару повсюду брал его с собой, представляя как своего помощника. Когда его как бы между делом спрашивали, почему он выбрал бельгийца, он с улыбкой отвечал: «Это маленькая страна». Собеседники кивали, не очень вникая, но Хару чувствовал, что его ответ внушает доверие. Если же он ощущал сопротивление, то добавлял: «Это маленький остров в Европе», — и одобре-

ние было гарантировано. В действительности Бельгия внесла в его коммерческую деятельность экзотическую нотку как раз в тот момент, когда он понял, что для долгосрочного продолжения требуется обновление. Поль Дельво говорил медленно, схватывал быстро и получал явное удовольствие от искусства торговых переговоров. Он наблюдал, никогда не вмешивался, учился улыбаться, кланяться и опускать глаза в нужном ритме. Когда миновало первое удивление, японцы оценили его скромность и сочли шикарным то, что поначалу показалось им нелепым. Сам факт, что европеец показал себя столь несловоохотливым и не говорил о самом себе, являлся позитивной аномалией, устраняющей первую, потенциально негативную. А Поль продолжал молчать и пить с чувством такта.

Но когда они с Хару оставались наедине, в хранилище или в доме на Камо, они разговаривали. Они разговаривали о предметах искусства, о клиентах, о ценах и рынках, а потом о чем-то еще, об искусстве вообще, о жизни и, на удивление естественно, о самих себе. Такое Хару привычно допускал только с Томоо и Кейсукэ, но общение с Полем распахивало окно в новый мир, что позволяло стряхнуть напряжение. Это не принимало

форму исповеди или монолога, они перескакивали с одного на другое, и такие моменты становились взаимным подарком, причем не только собеседнику, но и себе самому. К тому же они прекрасно осознавали, что подобные беседы возможны лишь потому, что по отношению друг к другу они оставались иностранцами, и эта иностранность снимала всякую иерархию, будь то по возрасту или по положению. В рабочей обстановке они использовали исключительно должные местоимения, ничем не показывая, что между собой перешли на «ты». Двадцатого октября 1999 года, в день двадцатилетия Розы, Хару привел Поля в свой кабинет. Молодой человек сначала открыл для себя вид на реку и горы, потом, обернувшись, — фотографии на кипарисовых панно. Он подошел ближе и принялся молча их рассматривать, Хару прикурил сигарету и разлил саке, Поль уселся напротив, и они выпили, по-прежнему в молчании.

— Твоя дочь, — наконец произнес Поль.

— Ей сегодня двадцать лет, — сказал Хару.

— Никто не знает? — спросил Поль.

— Только Сайоко.

— А кроме?

— Никто.

Он рассказал все — про Мод, запрет, частного детектива, фотографа, Паулу, про срыв, кошек и тени. Рассказал о десяти днях с француженкой, об Эммануэль Ревер, повторил свои последние слова. Заговорил о своей отцовской гордости, отчаянии, своем кресте и отцовской надежде, своем ужасе после самоубийства Уильяма и землетрясения в Кобе.

— Я лучше понимаю жесткость Бет, — сказал Поль.

Хару чувствовал себя опустошенным, но в нем поднималась странная эйфория.

— Я ждал этого многие годы, — сказал он. — Сможешь ли ты нести такой груз?

— Такой груз? — повторил Поль. И засмеялся. — Но это подарок.

Так началась счастливая эра. То, чего Хару не смог высказать Эммануэль Ревер, стало возможным с мужчиной, ибо Поль, ведомый Кларой, тоже шел по пути женщин. С каждой встречей Хару все больше нравилась молодая бельгийка — всегда в ровном, радостном настроении, деликатная, но простая, забавная, но не лишенная изысканного лукавства. Она делала существование Поля легким и светлым, отдавала пальму первенства жизни духа, с должным прагматизмом

решала бытовые проблемы и, что Хару считал самым замечательным, управлялась со всем, но не желала ничего контролировать. Вскоре после того, как поделился тайной существования Розы, Хару сказал Полю: «Можешь поговорить об этом с Кларой», на что Поль ответил, что у него нет секретов от жены, кроме тех, которые касаются других людей, и добавил со смехом: «Однако она утверждает, что я самое таинственное существо из всех, кого она знает». Он таким и был. Поль ничего не скрывал, но в нем таилась сложность столь насыщенная, что скрывала от него самого, как и от других, отдельные грани его внутреннего мира. Он рассказывал не только о своей семье (где он задыхался), об изучении японского (затеянном, чтобы оставаться рядом с Кларой), о приезде в Японию (где он сразу же почувствовал себя на своем месте), но и о своих вкусах, раздумьях, сомнениях и вопросах. И наконец, каждый триместр они вместе просматривали отчеты и фотографии из Франции, и Поль давал разъяснения, о которых Хару и не подозревал. К ками и ёкай из верований Сайоко и его собственным интуитивным прозрениям добавился свет европейского знания, наводящего мосты между депрессией Мод и языком лисиц с гор.

Почти через два года после их первой встречи Хару взял Поля с собой в Такаяму. Стоял октябрь, Розе скоро должен был исполниться двадцать один год, погода была хорошая, машина скользила между алеющими склонами и белоснежными вершинами. Его родители и брат отправились на похороны, дом на реке был пуст, и посреди потока огромный камень, увенчанный осенним мхом, казалось, раскалывался надвое в бурных водах. Хару рассказал Полю, что вырос, глядя, как падает и тает снег на этом камне, и что скала, деревья, водопады и лед сотворили все его призвание. Они посмотрели на бегущие струи, Поль опустился на колени и прикоснулся ладонью к земле берега, на которую падали карминные кленовые листья.

— Форма — это красота поверхности, — сказал он, поднимаясь. — Именно это, конечно же, так нравится мне здесь: Япония спасает меня от собственных внутренних глубин.

В поезде на обратном пути, пока Поль спал, Хару раздумывал над его словами, а еще над теми, которые невольно всплыли в памяти: *К несчастью, подземные толчки произошли на малой глубине под островом Авадзи и сейсмические волны не успели ослабнуть*. «Но в этом все дело, — сказал себе он, — в этом суть японской

души: наша земля и наша участь обрекают нас оставаться близко к поверхности, и, отрезанные от внутренних глубин, мы принимаем внезапно обрушившиеся на нас бедствия и катаклизмы. А потом, в разоре и запустении, претворяем этот кошмар в красоту и в небеса, за которыми вянет сад высокий». В этот момент он вспомнил об отце и подумал: «Как в здоровье, так и в болезни мы никогда не можем замкнуться в себе, мы всегда остаемся на поверхности, и эта недостижимая глубина вылепила всё в моей жизни».

* * *

Поль никогда не обсуждал решений, принимаемых Хару. Как в работе, так и в том, что касалось Розы, он слушал и иногда в конце задавал вопрос. Как торговец, он все усвоил — манеру, стиль, препятствия и хитрости: он был совершенно незаурядным. Однажды вечером, когда они сидели вместе с Томоо и Кейсукэ, гончар изрек, посмотрев сначала на него, а потом на Хару:

— Два сапога пара.

Увидев, как молодой человек вопросительно приподнял бровь, он пояснил:

— Ты такой же говнюк, но в своем более деликатном стиле, менее нахрапистом, к тому же

ты бельгиец, по тебе не так заметно, когда ты подбиваешь клинья. Родись ты французом, был бы как на ладони, ведь французы так предсказуемы. Но ты тоже станешь выжимать искусство, как лимон, прежде чем бросить его в яму своих нереализованных амбиций.

— Каких амбиций? — поинтересовался Поль.

— А это я у тебя должен спросить, — сказал Кейсукэ, — но, к счастью, тебя спасает жена.

— А я? — не понял Хару. — Что спасает меня?

— Что-то, — ответил Кейсукэ, — но ты это от меня скрываешь.

Когда они остались одни, Поль спросил у Хару, почему он никогда не говорил с гончаром о Розе.

— Он потерял двоих детей, — ответил Хару, — и я стану ему рассказывать, что потерпел поражение как отец?

— Он ведь друг.

— С каждым другом у нас складываются свои отношения, — сказал Хару. — Не проси меня объяснить, объяснения — это западная болезнь.

Они отпраздновали переход в 2000 год в доме-паруснике на Синнё-до, где собрался весь Киото, в том числе Бет, не любившая никакие празднества. В тот вечер Томоо представил им Акиру, бывшего танцовщика буто того же возраста, что и

он сам, — около шестидесяти, — который только что перебрался в парусник. После смерти Исао прошло пятнадцать лет, и Кейсукэ по-братски положил руку на плечо старого друга. Акира, в прошлом великий танцовщик, походил на ласкового улыбчивого старичка, но, когда он встал, чтобы показать пародию на кабуки, все почувствовали мощь, исходящую от этого тела, издавна привыкшего исследовать сумеречные глубины. Сама пародия оказалась уморительной, и Хару с удовольствием наблюдал, как Поль с Кларой хохочут во все горло. Были и другие развлечения — рояль, песни традиционные и полупристойные, потом, ближе к полуночи, музыкант, игравший на сякухати[65], внес равновесие в дуэль между весельем и серьезностью, что было фирменным знаком парусника, излив на собравшихся трепещущие меланхоличные звуки, извлеченные из его инструмента. По мере того как уходили менее близкие гости, вечер погружался в волны саке и дружбы, которым Хару, сидевший, привалившись к перегородке, позволил себя унести. Они разговаривали, пили, отдельно подняли бокалы за приобретение

[65] Примечания: 65

Сякухати — продольная бамбуковая флейта китайского происхождения, долго использовалась для практики медитации суйдзэн.

Кларой и Полем маленького дома недалеко от Камигамо.

— Итак, вы решили окончательно обосноваться у нас? — спросила Бет.

— Поль работает у Хару, я преподаю французский в университете, это предел наших мечтаний, — ответила Клара и добавила: — Когда смотришь отсюда, Бельгия кажется как никогда скучной.

— Однако это маленькая страна, — сказал Поль, и присутствующие, знающие о словесных выкрутасах Хару, дружно расхохотались.

В четыре часа Бет и Клара ушли, Акира отправился спать, так что пить остались только Поль, Томоо, Кейсукэ и Хару. «Последний квартет, — подумал торговец, — в конечном счете все всегда сводится к завершающему квадрату, который и противостоит силам тьмы». Когда друзья заснули на татами, он вместе с Полем отправился пешком в свой дом на Камо. Там они снова разговаривали и пили, пока молодой человек не поднялся и не подошел к кипарисовому панно посмотреть на последние фотографии из Франции. Роза, ставшая агрономом, занималась в Париже исследованиями в области геоботаники. На протяжении долгих лет она оставалась верна себе, острая и

суровая, мрачная и постоянно в гневе. У нее было много любовников, которых она быстро отправляла восвояси; Хару находил, что она красивая и необычная, цельная и отчаявшаяся, но видел, что живущий в ней гнев мало-помалу уступает место безразличию. Когда занялся рассвет, он открылся Полю, тот впал в задумчивость.

— Печаль завоевывает позиции, — сказал он наконец.

Ночь уходила, клен тихонько подрагивал, отголоски звуков сякухати обволакивали его невидимым шелком, мягким и тревожным. Когда Поль отправился домой, Хару посмотрел на свою реку, над которой плясали крошечные хлопья. Все в его жизни казалось ему застывшим, мелькали времена года, Киото менялся и оставался прежним, вне возраста и новым, как родниковая вода, чета Дельво разорвала круг проклятий, но никто и ничто не могло разорвать круг запретов. Он собрался принять ванну, когда появилась Сайоко в кимоно, на котором были изображены заснеженные горы, и с необычайно оживленным лицом. Она поставила на низкий столик у клена маленький поднос со свежими моти, приготовила чай и присела напротив Хару.

— Ее зовут Сора, — сказала Сайоко. — Родилась

в первую минуту первого января двухтысячного года.

— Вот вы и бабушка, — поздравил ее Хару. — Я счастлив за вас.

Они молча, в согласии двух десятилетий общения, выпили чай. «Новорожденная в Новый год, разве это не лучшее из предзнаменований?» — спросил себя Хару и, внезапно подумав, что у его дочери тоже однажды могут появиться дети, ощутил головокружение, заставившее его забыть о Сайоко.

— Простите? — переспросил он, осознав, что та что-то ему говорила.

— Не нужен ли вам шофер? — спрашивала она.

— Шофер? — повторил он, решив, что ослышался.

— Шофер, — утвердительно сказала она, и он понял, что всякое сопротивление бесполезно.

Назавтра она представила Хару шофера, выбранного ею лично. Маса Канто, которого все звали просто Канто, был поздним сыном ее третьей сестры. Считалось, что он немного дефективный, — у него просто легкая форма аутизма, как позже заметил Поль, — но он прекрасно разбирался в информационных технологиях и работал на дому в Токио, выполняя порученные

ему заказы в том ритме, который его устраивал. Сайоко подыскала ему квартирку с гаражом рядом с храмом Хякуманбэн, в пяти минутах от дома на Камо; Хару достаточно позвонить, и Канто явится, отвезет, куда надо, а потом вернется к своим компьютерам. По правде говоря, торговцу отнюдь не претила мысль отказаться от такси с их душными натопленными салонами, избитыми разговорами и запахом несвежих бэнто[66], а дальнейшее доказало, что Канто прекрасно водит машину, умеет и молчать, и разговаривать и постоянно доволен своим положением. Отсутствие расписания и сама работа ему нравились — по его словам, «иначе я целыми днями сидел бы дома и ел всякую гадость из „комбини“[67]». Больше того, он обожал Киото, и мало-помалу Хару начал водить его по храмам, садам, кафе, а иногда по ресторанам.

Однажды он спросил Канто, что ему понравилось в Серебряном павильоне, и Канто ответил:

— Пруды.

— Почему? — полюбопытствовал Хару.

---

[66] Примечания: 66

Бэнто — традиционный японский «обед с собой».

[67] Примечания: 67

«Комбини» — японские круглосуточные мини-маркеты (от *англ.* convenience store — удобный магазин).

— Они точные, — сказал тот.

Кейсукэ, бывший с ними, засмеялся и заметил:

— Вот чего не хватает в моей последней графической работе.

А рассеянно слушавший Хару почувствовал, как что-то сдвинулось. Внезапное понимание, что кровные линии простираются в будущее точно так же, как он видел их вечное существование в прошлом своих предков, преображало время. Он смотрел на Канто, слушал, как Сайоко рассказывает о внучке, и думал: «Я плыву в своем невидимом и беспрерывном потоке, где присутствует и моя дочь, где каждому навечно предназначено точно очерченное место, и бесполезно надеяться его изменить».

* * *

Каждый год последний представитель другого рода, Эдуар Меллан, в конце весны и в конце осени надолго приезжал в Киото. Он хорошо говорил по-японски и утверждал, что остальные месяцы года живет только ради этих дней в Японии. Однажды, когда он был у Хару и Бет тоже оказалась там, Эдуар объяснил, что пребывание в Китае для него по-прежнему ад, чем и оправдывается паломничество в Киото, и Хару увидел, как

внимательно Бет на него смотрит. Чуть позже француз обмолвился, что его отец девять лет назад попросил, чтобы в его гроб положили белые камелии.

— Не знаю, почему я не рассказал вам об этом раньше, — обратился он к Хару, — но я был одержим поручением в точности передать вам слова про лисицу… — И после небольшой паузы продолжил: — А потом я боялся снова об этом заговорить.

В ответ Хару рассказал ему историю о лисице и даме эпохи Хэйан.

— Эта история несет в себе силу, хотя я не знаю, в чем тут дело, — добавил он, а потом, подумав об Эммануэль Ревер, сказал: — Подруга, которая знала к ней ключ, тоже умерла.

Эдуар ушел, у Хару возникло ощущение, что где-то произошла какая-то *перемена*, он выбросил эту мысль из головы и отправился ужинать с Томоо, Акирой и Полем в «Кицунэ», недавно открывшуюся якиторию в двух шагах от парусника. Надвигался муссон, было прохладно, восточные горы наливались серой пеленой мороси. Посетителями якитории, которую держал бывший якудза, были в основном студенты и местные жители, ничего про Хару не знавшие и нимало этим

не озабоченные. Заведение напоминало чердак из детства, где среди афиш с манга, ржавых жестяных рекламных вывесок и фигурок суперменов выстроились ряды бутылок с саке, преграждая путь клубам дыма от жарящегося на гриле мяса. Стены были выкрашены черной краской, несколько подвесных ламп скудно освещали зал со столами темного дерева, ящиками пива у лестницы и телефоном с наборным диском на стойке. Но главное, тут подавали тающее во рту ароматное мясо на шампурах и, по мнению Кейсукэ, лучший в городе салат с курицей. Поль предупредил, что задержится, а потому Хару, Томоо и Акира заказали в ожидании ледяное пиво и эдамамэ[68]. В зыбкой, таинственной и прохладной атмосфере, предваряющей сезон дождей, начало вечера показалось Хару исполненным особого очарования, пока ближе к восьми часам ему не позвонила Сайоко по каким-то хозяйственным делам и, перед тем как повесить трубку, сказала:

— Что-то странное этим вечером в воздухе.

Как всегда, он первым делом подумал о Франции и о Розе, но тут появился Поль и заказал

[68] Примечания: 68

Эдамамэ — вареные или приготовленные на пару́ незрелые стручки соевых бобов, популярная в Японии закуска к пиву и западным крепким спиртным напиткам.

бутылку саке со словами:

— Я должен вам кое-что сообщить. — И, разливая саке, продолжил: — Клара беременна, наша дочь родится в январе.

— Откуда ты знаешь, что будет девочка? — спросил Томоо.

— Я просто знаю, — ответил Поль и посмотрел на Хару.

Как отец на отца, подумал торговец и, обретя равновесие на узком хребте, разделяющем радость и боль, поднял свой бокал, сказав:

— Я завидую этой малышке — у нее будут лучшие в мире родители.

И его охватило удивительно приятное чувство. Он был счастлив за Поля и испытал облегчение оттого, что предчувствие Сайоко не имело отношения к Розе. Он увидел, как обозначилась брешь в будущее, был взволнован как свидетель и друг, с интересом думал о еще не рожденном ребенке, тоже уверенный, что будет девочка. Как ни странно, скорое появление в Киото этой маленькой иностранки отгоняло тот страх, который он испытывал при мысли о своей собственной иностранке в Париже. Он вернулся в дом на Камо, принял ванну и заснул, убаюканный смешанным чувством возбуждения и полноты жизни. На сле-

дующее утро он нашел Сайоко в комнате клена, она стояла с вытянувшимся лицом, какое у нее бывало в скверные дни.

— Клара беременна, — сказал он.

Она сморщила лоб.

— Будет девочка? — спросила она.

Он сделал знак, что да. Она шмыгнула носом.

— Что такое? — спросил он.

— Я не знаю.

Он проработал все утро в кабинете, охваченный тем же чувством полноты жизни, что и ночью, а когда Поль позвонил ему перед отъездом в Токио, он повторил:

— Я счастлив за вас.

— Клара тоже, — со смехом сказал Поль. — Она счастлива за нас двоих, хотя вся работа ляжет на нее.

Было двадцатое июня, холодно, Хару повесил трубку, и пошел проливной дождь. Он ощутил озноб, настроение переменилось, он снова подумал о том, что сказал накануне Эдуар о белых камелиях в гробу отца. Хару представил себе бледного и неподвижного Жака Меллана с завязанным бантом галстуком и свежими цветами на груди, в покое прощальной белизны. «Он был путешественником, — подумал Хару, — который

отправился на другой край света в поисках материи для своего последнего успокоения, а вот я никогда не покидал свой архипелаг, хотя смысл моего сердца тоже находится по ту сторону ночи». Устав от перепадов собственного настроения, он хотел было встать, но тут в комнату вошла встревоженная Сайоко, и в ту же секунду зазвонил его мобильник. Хару принял вызов, пока она стояла рядом, и услышал голос Акиры:

— Только что умер Томоо.

* * *

На отпевании присутствовали все близкие Томоо. Теперь обряд редко проводили на дому, и все же его решили организовать в паруснике на Синнё-до, и провел его Хироси, брат Кейсукэ. Родители и сестра Томоо умерли, и на церемонии было мало родственников. Хару, сидевший рядом с пианино и телом друга, был совершенно раздавлен грузом горя и одиночества, а Кейсукэ, подводя черту, тихо сказал:

— И прочь летит от звездного мерцанья в пустую ночь тяжелый шар земли.

В жутком покое комнаты Хару, глядя на стоявшую перед ним фотографию Кадзуо Оно, не мог себе представить, что они будут здесь пить и раз-

говаривать, как после смерти Исао. Он подумал: «Мы верим, что мы сильнее, но в нас поселилась смерть». Снаружи падал частый дождь. Хару было плохо, но плакать он не мог. Он погружался в свои темные глубины.

На похороны пришла половина города, и все приносили свои соболезнования Акире. В конце тот взял слово, поблагодарил собравшихся и добавил несколько слов в леденящей тишине:

— Он не страдал, он не понял, что умирает, он угас в том же кресле, где его первая великая любовь. Я был второй. Другой не будет.

В зале было много людей с национального телевидения, приехавших из Токио, из Осаки и даже из Саппоро, где, согласно правилу ротации, существующему в NHK[69], Томоо периодически работал, всегда с радостью покидая свою основную базу, свой парусник. Об этом доме внезапно заговорил Кейсукэ:

— Мы не можем собраться в Синнё-до без нашего То-тяна.

Друзья договорились встретиться у Хару. Они пили по-черному, не в силах ни говорить, ни смеяться, и заснули в разных углах комнаты.

---

[69] Примечания: 69

NHK («Ниппон Хосо кёкай») — японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания.

Поль, единственный из всех, ночью ушел домой, и Хару в одиночестве отправился принять ванну. В воде его захлестнуло горе и вместе с этим новое знание. «Томоо не понял, что умирает, а мы все не поняли, что стареем, — сказал себе он. — Через некоторое время я стану в глазах своей дочери стариком». Саэ, Йоко, Рю, Таро, Уильям и Исао умерли молодыми, а его старые родители в Такаяме до сих пор живы. Жак Меллан, который был на десять лет старше Хару, мог бы стать первым предостережением, но он был иностранцем и отправился в мир иной вне повседневной жизни Хару. А вот смерть Томоо, напротив, радикально меняла эту жизнь, она меняла многих людей, меняла равновесие мест, текстуру времени, и впервые в жизни Хару задумался о своем возрасте.

Неделю спустя они опять встретились в Синнёдо, чтобы захоронить в земле пепел друга.

— Ему бы очень не понравилось, если бы я ужинал в одиночестве, беседуя с урной, — сказал Акира Кейсукэ, оправдываясь, почему не стал соблюдать положенные по обычаю сорок девять дней.

— С телами мертвых надо разбираться как можно быстрее, чтобы оставалось размышлять только

о смерти, — сказал по возвращении гончар.

Утром двадцать восьмого июня Акира, Кейсукэ и Хару шли по дороге, ведущей на кладбище. Покинутый Томоо дом походил на мавзолей, они не стали там задерживаться, Хару знал, что больше сюда не вернется. Накрапывал дождь, мучительный долг сказать «прощай» тридцатилетней дружбе покрывался моросью, а они шагали по холодному и топкому пути отчаяния, сгибаясь под тяжестью воспоминаний. Они молча постояли перед могилой, чувствуя себя опустошенными дураками, потом двинулись в сторону Куродами и поднялись на вершину лестницы. Внизу безразлично шумел центр, разливаясь бетонной лавой между отдельными возвышенностями. Пока они мрачно его разглядывали, Кейсукэ сказал:

— На этот раз саке нас не спасет, а вот Киото может.

И они почувствовали, как внутри распространяется благодетельная мощь города.

На следующей неделе Хару вернулся вместе с Полем на круговую прогулку по Синнё-до. У подножья лестницы он остановился там, где узнал от Меллана о существовании своей дочери, подумал о собственном пепле, который будет здесь покоиться, и, связав таким образом свою участь

с участью Томоо, расположившей их могилы по соседству, успокоился. Он поужинал в якитории, где они с Томоо встречались в последний раз, и проникся уверенностью, что «Кицунэ», этот защищенный заповедник детства, сбережет счастливые мгновения.

На следующее утро на рассвете позвонил Наоя и сообщил, что их отец, как и Томоо, умер во сне. Хару сел в первый же поезд на Такаяму, на вокзале взял напрокат машину, отвез свои вещи в Какурэдзато и присоединился к своим в погребальном зале. На похоронах собралась внушительная толпа пивоваров, торговцев, друзей, а также мужчины и женщины, которых Хару не знал. Все приветствовали его и как местного уроженца, и как человека, добившегося в жизни успеха, и он почувствовал себя предметом восхищения, в то же время исключенным из этого доброжелательного сообщества. Мать, какой он всегда ее знал, привычно несла в себе самоотречение и меланхолию, но только усиленные трауром. В какой-то момент церемонии она беззвучно заплакала, содрогаясь и трясясь. Жена Наоя положила ей на руку свою ладонь, и мать продолжила молча плакать. В голове Хару всплыло воспоминание о том приезде в горы, когда он узнал о болезни

отца. В его затуманенном рассудке вкус грибов слился с ощущением морока и дрожи, но когда он попытался отстраниться от этой заполненной призраками сцены, звезды, ведущие по пути предков, удержали его. Он, отец на сегодняшний день и, возможно, дедушка в будущем, увидел себя предком, каким в свой черед когда-нибудь станет, и понял, как его жизнь вписывается в совокупность времени, где без устали разыгрывалась — между ним и его родителями, между ним и его дочерью, а вскоре между его дочерью и ее собственными детьми — одна и та же молчаливая сцена одиночества.

Он остался на три дня в Какурэдзато, проводил много времени с матерью, повидался с кузинами и старыми товарищами, поговорил с Наоя про лавку, погулял по горе, думая о Томоо. Утром четвертого дня он двинулся на вокзал по извилистой дороге, петлявшей по долине между затопленными рисовыми полями, складами и маленькими, залитыми дождем святилищами. Густая зелень, пышные разросшиеся огороды, белые камни, обнаженные невысокой водой начала лета, придавали поездке особое очарование, обостренное простосердечием детства. Он сбросил скорость и покатился на малом ходу, что наконец и при-

несло ему успокоение. Проехал мимо семейного святилища, опустил стекло, позволил влажному теплому ветру пройтись по лицу, растворился в гостеприимстве своих гор. Некоторое время вел машину, умиротворенный знакомым окружением, но что-то переменилось, и он ощутил себя *вовне*. Привычный пейзаж отступил на задний план, вписавшись в более широкую панораму нового мира, неосязаемого, но присутствующего. В этом безграничном просторе он вернулся в себя самого, открыл там огромные пространства и подумал: «Значит, *вовне* — это здесь».

* * *

Десятого января 2009 года, за десять дней до его шестидесятилетия, родилась дочь Поля и Клары. Хару отправился в роддом встречать новорожденную, которую назвали Анна Роза Йоко.

— Роза в честь моей бабушки, Йоко в честь Кейсукэ и Анна как дань романтической стороне жизни, — уточнила Клара.

Поль ничего не сказал, но улыбнулся. Мощь жизни, исходившая от младенца, завораживала Хару. На другом краю мира жила его дочь, и эхо также доносилось до него с огромной силой и печалью. Несколькими днями позже в Камига-

мо пришла Бет и принесла чудесные подарки. В прихожей она пожала руку Полю и сказала с искренней теплотой:

— Клара и Анна обрекли вас на счастье.

В вечер своего шестидесятилетнего юбилея Хару устроил грандиозный прием не в последнюю очередь затем, чтобы способствовать дальнейшему процветанию своих дел, и Поль, у которого под глазами залегли темные круги, безукоризненно сыграл свою роль. С самого начала было очевидно, что Анна будет темноволосой и миниатюрной, как ее мать, и молодой бельгиец заметил Хару, что их дети совсем не похожи на своих отцов. Сайоко с ума сходила по малышке, смеялась вместе с ней, когда Поль приносил дочку в дом на Камо, но продолжала наблюдать за ней в своей бдительной и упрямой манере. Тем не менее год прошел спокойно, и в начале следующего, 2010-го Хару с облегчением подумал, что вроде все обошлось. В воскресенье, десятого января Поль заглянул всего на несколько минут, только чтобы передать бумаги, поскольку они отправлялись всей семьей в Кокэдэра отметить первый день рождения Анны. По возвращении он сказал:

— Сейчас сезон туманов, это великолепно.

И Хару запланировал поездку на следующей

неделе. Он уже целую вечность не бывал в храме мхов, и утром семнадцатого января Канто отвез его в Арасияму, западную часть города. По дороге они разговаривали, и Хару с веселым удивлением узнал, что Канто любит театр но.

— Я-то думал, что молодое поколение с его хайтеком ничем таким не интересуется, — заметил он, — а на эти спектакли ходят только старики вроде меня.

— Мне бы очень хотелось побывать на представлении такиги-но[70] в июне, — сказал Канто.

Это был ежегодный фестиваль, проходивший в огромном дворе святилища Хэйан, где давали спектакли труппы двух городских театров но и с наступлением ночи зажигались огромные факелы. Хару никогда еще не бывал на этом фестивале.

— Что вам нравится в но? — спросил он.

— Истинность, — ответил Канто.

Они подъехали ко входу в Кокэдэра как раз вовремя, точно по расписанию открылись двери, впустив группу пенсионеров, вооруженных огромными фотоаппаратами. Хару вежливо приветствовал их. Все пошли следом за монахом в

[70] Примечания: 70

Такиги-но — особая форма театра но, исполняемая в темноте на открытой сцене, освещенной дровами «такиги».

большой зал, где их усадили на татами, после чего приступили к обычному ритуалу с хоровым чтением сутры — пение и каллиграфические упражнения, — прежде чем каждому раздали тонкие деревянные дощечки, на которых следовало написать пожелание. Хару, который пришел не для этого, сунул дощечку в карман, гадая, что подумала бы Роза об этом ритуале, который обычно ему нравился. У него мелькнула догадка, но в этот момент их выпустили из зала. Они пересекли внутренний двор храма и наконец оказались в лесу. Густой мох, бархатистый и почти фосфоресцирующий, стлался по земле, покрывая корни и камни. Поодаль виднелся небольшой пруд, над поверхностью которого витал легкий зимний туман. Вокруг черные январские ветви выписывали иероглифы тайных стихов. Хару углубился в лесок и долго бродил под изломами лучей зимнего солнца. Потом остановился, поднял глаза к вершинам кипарисов и обнаженных кленов. «Они неподвижны, но рождают жизнь, — подумал он, — а мы вырываем свои корни, чтобы освободиться от собственной тени. — И потом мысленно добавил, следуя тому же пониманию, которое пришло к нему в родных горах после смерти отца: — *Вовне* здесь, оно и

есть превращение».

Он завершил прогулку и с сожалением покинул эти места. Земля Кокэдэра смягчала скорбь, очищала любовь, заволакивая мерцающей пылью нить его жизни. «Это магическая земля, — сказал себе он, — земля метаморфоз». Подумал об Анне и Розе, поймал себя на том, что представляет, как они однажды встретятся, и впервые за долгое время почувствовал себя глубоко счастливым.

* * *

Назавтра он рассказал о своей поездке и надеждах Полю.

— На той неделе Анна научилась хохотать, — сказал молодой человек. — Они отправятся туда вместе, когда мы состаримся и не сможем пуститься в путь.

Остаток утра они работали, а ближе к полудню, когда они пили кофе перед клеткой с кленом, Полю позвонила Клара. Он повесил трубку. На лице его читалось беспокойство.

— Что случилось? — спросил Хару.

— Не знаю, но что-то не так, — сказал Поль.

— Анна? — спросил Хару.

— Нет, — сказал тот и ушел.

Встревоженный Хару прикурил сигарету, и

день потянулся в тягостной неуверенности. Сайоко взяла отгул, и он сожалел, что рядом нет ее компаса дурных предзнаменований. В восемь вечера позвонил Поль.

— У Клары врачи подозревают рак, — сказал он. — Пока больше ничего не известно, на этой неделе предстоят обследования.

— Я рядом, — заверил Хару.

Через несколько дней Поль сказал ему:

— Это рак беременности, он поражает молодых мам и очень агрессивен.

— Я рядом, — повторил Хару, но знал, что его друзья оказались один на один с несчастьем.

Он задействовал все свои связи, чтобы найти лучших врачей и обеспечить наилучшее лечение, но был бессилен нарушить то одиночество, в которое болезнь погрузила Поля и его жену. Первые месяцы терапии измучили Клару; Сайоко, горькая пророчица, оставаясь с Анной, превращалась в добрую фею. Поль продолжал работать, и Хару, зная, что безжалостность предзнаменований определит естественный ход событий, не стал предлагать ему взять отпуск. Вместе с Бет и Кейсукэ они отпраздновали второй день рождения Анны, собравшись в спальне, где молодая женщина, худая и истощенная, всем улыбалась,

лежа в кровати. В конце февраля Поль сказал Хару, что надежды мало. Лора, сестра Клары, приехала из Бельгии и поселилась у них. Вечером, когда жена и дочь засыпали, Поль покидал свой дом и отправлялся к Хару на Камо. Он проходил через маленький сад, прислонял велосипед к стене и присоединялся к хозяину в кабинете. Там они пили саке и беседовали в ночи. На пороге беды все, что разделяло мужчин, исчезло, и Хару спрашивал себя, испытывал ли он когда-нибудь подобную близость с кем-либо другим. И говорил не только Поль: это был диалог, они слушали друг друга, рассказывали о своей жизни, тревожились о Кларе и Анне, а с определенного момента — о том, как без матери сложится жизнь девочки. Поль не жаловался и говорил совершенно откровенно.

— Если бы не Анна, я бы после смерти Клары покончил с собой, — сказал он однажды вечером, а в другой раз заметил: — Она слишком страдает, это не может продолжаться.

Когда Хару передал это Бет, та издала короткий сухой смешок, который причинил боль обоим. Десятого марта сразу пополудни Сайоко, занимавшаяся тем, что размещала ветвь сливы в вазе, внезапно замерла и с озадаченным видом

шмыгнула носом. Два часа спустя Клару срочно госпитализировали, но Сайоко, казалось, не особо встревожилась, — значит, дело не в этом, подумал Хару, или, во всяком случае, пока не в этом.

Утром одиннадцатого марта 2011 года Хару после встречи с клиентом пошел обедать с Акирой. Они выпили пиво и поговорили о Томоо с теплотой, полной взаимопонимания.

— В нашем возрасте мы осиротели, — сказали они друг другу и засмеялись.

Акира добавил:

— Знал бы ты, как я его любил. — и Хару с мягкой ностальгией и грустью вновь подумал об Исао, о мужчинах, наделенных даром любви.

Около двух часов дня он в одиночестве отправился в Синнё-до и прошел своим круговым еженедельным маршрутом, но на вершине большой лестницы Куродани у него внезапно возникла резкая головная боль. Хару спустился по ступеням, но там, где он когда-то узнал о существовании Розы, мигрень взорвалась в голове с такой силой, что он скорчился на земле от боли. Через несколько минут он поднялся, дошел до машины, оставленной перед высоким красным порталом, и поехал в хранилище, где, движимый странным предчувствием, включил телевизор.

Было четырнадцать часов сорок пять минут, у него опять заболела голова, а поскольку NHK транслировала унылые дебаты в Диет[71], Хару решил, что смотреть нечего. Он протянул руку к выключателю, но под кадром с дебатами появился анонс Национального метеорологического агентства, сопровождаемый звуковым сигналом сейсмической тревоги, и мужской голос начал зачитывать предупреждение о непосредственной угрозе мощных подземных толчков и перечислять префектуры, которых это коснется: Мияги, Иватэ, Фукусима, Акита, Ямагата. Парламентарии продолжали говорить, голос произнес: «Остается мало времени до начала», помещение Диет затряслось, картинка пропала. Потом какой-то журналист в студии вышел в эфир. Он зачитал указания по мерам безопасности, кадры из Токио тоже начали мелькать, и вскоре ведущий объявил о землетрясении силой, в зависимости от зоны, от пяти до семи баллов. Без десяти три, через пять минут после первого сообщения, с экрана прозвучал второй предупредительный сигнал, на этот раз о цунами на северо-востоке Тохоку, на океанском побережье Хоккайдо, но

[71] Примечания: 71

Диет — имеется в виду здание японского парламента, *National Diet Building*.

также в Ибараки, Тибе, на островах Идзу. Кейсукэ, позвонивший за две минуты до того со словами «Нобу сейчас в Сендае»[72], присоединился к Хару. Они вместе смотрели на картины землетрясения, которые транслировались из Токио, Кейсукэ безуспешно пытался дозвониться до сына. «Все линии перегружены, — сказал Хару. — Я уверен, что с ним все в порядке». Потом, незадолго до шестнадцати часов, NHK передала кадры оперативной съемки, снятые с вертолета, летящего над устьем реки Натори, к северу от аэропорта Сендая. Они просмотрели их в молчании, не понимая, что видят. Бесчисленные и хаотичные информационные сообщения следовали одно за другим: толчки 7,1 по шкале Рихтера, эпицентр в Тихом океане в ста тридцати километрах к востоку от Сендая, имеются разрушения на фукусимской атомной станции, магнитуда подскочила до непонятных величин, эвакуация жителей в радиусе как минимум трех километров от станции — и снова нереальные, невозможные, чудовищные картины цунами, проникающего в глубину земель. В шесть вечера на склад пришел Поль и позвонила Сайоко. Ее сестра, жившая в Канто, к югу от Токио,

[72] Примечания: 72
Сендай — город в префектуре Мияги.

только что объявилась, с семьей все в порядке, она надеется, что с квартирой Хару тоже.

— Нобу был в командировке в Сендае, — сказал ей Хару.

Повисло молчание.

— Вот оно, — произнесла она глухим голосом, и Хару почувствовал, как у него скрутило внутренности.

— Я вас жду, — добавила она и повесила трубку.

В доме на Камо телевизора не имелось, и, чувствуя облегчение оттого, что перед глазами больше не мелькают жуткие кадры, они стали слушать радио. Хару попытался связаться со знакомыми в Сендае и в Натори, никто не отвечал, и Кейсукэ лег на пол, прямо на деревянные плашки. Сайоко принесла крепкий чай и пиалы с дымящимся рисом, потом, поймав снизу взгляд Кейсукэ, подала саке. Поль уселся, прислонившись к клетке с кленом, они выпили, не очень сознавая, что делают, Сайоко ходила туда-сюда, время от времени что-то бормоча. Ближе к полуночи Поль ушел, сказав, что вернется на рассвете, Сайоко предупредила мужа, что останется в доме Хару, и началось бдение, бдение без мертвеца и приговора, без тела и реальности, в очевидности

беды, в отчаянии перед неотвратимостью судьбы, потому что все трое догадывались, какая участь постигла Нобу. Но утро следующего дня прошло без всяких новостей, только накапливалась информация, предвещавшая все более ужасающие вести. Около пяти вечера на NHK сообщили, что произошло извержение в районе атомной станции в Фукусиме, и Кейсукэ хмыкнул:

— А вот и атом пожаловал, теперь на вечеринке полный комплект.

— Системы охлаждения не работают, — сказал Поль. — Реакторы расплавятся.

Когда комментатор передал пресс-релиз, выпущенный Токийской энергетической компанией, отвечающей за эксплуатацию станции, он заметил:

— Прессе можно скормить что угодно.

— Это из той же серии, что их установка не показывать трупы, — сказал Кейсукэ. — Ты в курсе, что я родом из Хиросимы? Мой отец из Киото, но моя мать оттуда и отправилась туда рожать нас с братом. Она ждала нас две недели рядом с матерью и сестрами, мы с Хироси родились шестого июля сорок пятого года, мать вернулась сюда пятого августа, за день до бомбы. Остальные все погибли. Я туда никогда не ездил.

По радио рассказывали о затопленной станции, над которой возносится облако взрыва.

— Невидимое спрятать труднее всего, — пробормотал Кейсукэ. — Ложь, атом — они здесь, перед нами, в ярком свете.

В семь часов Поль в свою очередь пробормотал:

— У меня такое чувство, будто я присутствую при полном крушении.

— О, — сказал Кейсукэ, — мы всё отстроим заново, по крайней мере частично. Но ты не видел Кобе до Хансина-Авадзи — это был молодой город, необычный, почти странный. Мы отстроим, но вот невинность будет утрачена навсегда.

В восемь вечера телефон Кейсукэ зазвонил, он протянул его Хару; это был Юкио, коллега-биолог, с которым Нобу собирал образцы на побережье у Ситигахамы, в двадцати километрах от Сендая. Ками, или боги, или кто там еще послали одного из них в гостиничный номер в центре города печатать отчет, а другого на пляж собирать пробы песка.

— Цунами докатилось позже, — сказал Юкио. — Если бы он ушел сразу, то остался бы жив. Я пытался ему позвонить, но никакие вызовы не проходили. Думаю, он хотел забрать оборудо-

вание и дошел до машины, а потом стало уже поздно, машину волна протащила досюда, где я ее и нашел; это чудо, многие никогда не найдут своих. — И он заплакал.

Хару положил трубку, Сайоко опустилась на колени и склонила голову, Поль, подавленный, в полном отчаянии, сцепил пальцы на затылке, а Кейсукэ посмотрел на Хару.

— Я тебя предупреждал, — сказал он.

* * *

Урну захоронили на кладбище сразу после отпевания, задержавшегося из-за опознания и репатриации тел.

— Где будет лежать твой пепел? — спросил Кейсукэ у Хару и добавил: — Нобу достоин быть твоим соседом.

Под проливным дождем они снова оказались на Куродани с жутким ощущением дежавю. Хироси произнес молитву, добавив от себя несколько слов, которые заставили Кейсукэ рухнуть на мокрую землю. Хару отложил свой зонт, обхватил гончара за плечи и держал его, прижав к себе, до конца церемонии. Акира подошел с зонтом, но Хару жестом отказался и остался стоять под ливнем, поддерживая брата своей души. Поль

тоже закрыл свой зонт, и один за другим присутствующие последовали их примеру, бросая зонты на грязный песок и принимая ливень и холод в знак разделенной скорби. Когда Бет закрыла свой, все увидели, что она плачет. По щекам Сайоко бежали слезы и капли дождя. Она последней отошла от могилы, медленным шагом, с жемчужинами воды в волосах. Несколько дней спустя Поль спросил у Хару, можно ли пепел Клары тоже захоронить в Куродани.

— Она буддистка, — сказал он, — но даже если бы это было не так, мне хотелось бы, чтоб она покоилась там.

— Хироси сделает все необходимое, — ответил Хару и мягко спросил: — Мы настолько близки?

— Мы идем по крыше ада, глядя на цветы, — ответил Поль, цитируя стихотворение Иссы[73]. — На самом деле мы уже в его пекле.

После полудня Хару получил последние фото из Франции и почувствовал себя еще более раздавленным. Те, кто мог быть счастлив, умирали, те, кто жил, были несчастны, жизнь погружалась в болото бед и траура, где он тонул и как друг, и

---

[73] Примечания: 73

Кобаяси Исса (1763–1828) — японский поэт, мастер хайку; «Тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи, вверх, до самых высот» (перев. В. Марковой) — тоже его стихотворение.

как отец.

Новые сведения о том, что случилось одиннадцатого марта, всё прибывали, и стало известно, что землетрясение произошло на малой глубине, сдвиг сконцентрировался на разломе необычайно короткой протяженности, аккумулировав таким образом всю энергию в ограниченной зоне, одновременно достигнув магнитуды в 9,1 и вызвав чудовищное цунами. Однажды вечером, когда Кейсукэ и Поль сидели у Хару и пили саке, тот поделился своими размышлениями о недостижимой глубине чувств у японцев.

— Она существует, — откликнулся Кейсукэ, — богатая и бездонная, но нам нет туда доступа, мы замкнуты в несчастьях нашей земли, в ее постоянной трагедии, а еще в нашем сегодняшнем языке, который больше не способен выражать то, что мы чувствуем. Как разглядеть что-то в себе, если больше не умеешь это высказать? Вместо этого нам морочат голову романтизацией катаклизмов и моральной эстетизацией силы духа. Как это восхитительно! Но и то и другое лишь скрывает черствость современной души.

И разговор продолжился, кружась вокруг схожих тем, в атмосфере печали и товарищества.

— Ты дурно на нас влияешь, — сказал в конце

концов Кейсукэ Полю. — Обычный японец не любит концептов, он предпочитает ритуалы.

— Но любой человек составляет себе представление о жизни, — возразил Поль.

— Об этой суке! — бросил гончар. — Думаешь, о ней можно сказать что-то еще?

Поль не ответил.

— А ты, — спросил Кейсукэ Хару, — как ты ее себе представляешь?

— Как переход через реку, — ответил тот. — Реку, где вода черная, потому что глубокая. Я не могу разглядеть дно, но перейти все-таки надо.

Кейсукэ посмотрел на него с нежностью.

— Ты правильно делаешь, — сказал он. — Роса на другом берегу.

В середине апреля Хару обедал с Бет, и та объявила, что отныне будет проводить каждое лето в Англии.

— Но ты же терпеть не можешь Англию, — удивился он.

— Именно так, — подтвердила она. — Япония умеряет мою боль, но наркотик с годами слабеет, мне требуется немного ада, чтобы снова прочувствовать передышку. Бизнес вполне налажен, я могу руководить им из своего родного Беркшира,

а как только я под завязку наемся сконов[74] и напьюсь хереса, сразу вернусь.

— Когда ты уезжаешь? — спросил Хару.

— После Клары, — ответила она. — Я вернусь в сентябре, Полю будет приятно снова увидеть ту, что отсутствовала.

Вечером Хару сообщил Сайоко о решении Бет.

— Пусть там и остается, — сказала та.

Он ни разу не слышал, чтоб она плохо о ком-то отзывалась, и был поражен.

— Она не знает, что такое мораль, — продолжила Сайоко, — и я сейчас говорю не только о личной жизни. Даже в делах есть свои правила — нельзя творить все, что вздумается.

Чуть позже Хару поговорил по телефону с клиентом, к которому не смог приехать накануне землетрясения Хансин-Авадзи. Дочь этого клиента жила на побережье в префектуре Мияги, она уцелела и в момент подземных толчков, и во время цунами, сначала укрылась в центре экстренной помощи, а потом, когда дороги были восстановлены, перебралась к родственникам в Кобе.

— Но бедняги, которым не к кому идти, обре-

---

[74] Примечания: 74

Скон — общее название многих разновидностей британской сладкой выпечки.

чены на годы скитания без крыши над головой, пока им вернут выморочное имущество, — сказал клиент Хару. — А знаете, кто появился в пострадавших районах сразу после землетрясения? Не правительство, не местные власти, не иностранная помощь — они все заложники своего оборудования, своих протоколов и инерции. Еду и все самое необходимое несчастным, в том числе в зараженные радиацией зоны, доставили якудза. В первые часы жертвы могли рассчитывать только на японский народ и на Инагава-кай[75]. Если нами управляют одни бандиты, а спасают другие, то те, кто проявил больше сострадания, имеют полное право восстанавливать страну.

«А я, — спросил себя Хару, — я тоже бандит?..» Он задал этот вопрос Кейсукэ, и тот прыснул:

— Да, только вполне мелкотравчатый. Твой рэкет никому особо не вредит, потому что твои подопечные богатеют, и потом, ты никому не угрожаешь и никого не отправляешь на тот свет.

— Как и Бет, — заметил Хару, на что Кейсукэ, подумав, ответил:

— Нет, но она все-таки вампир.

Позже у них состоялся еще один диалог.

---

[75] Примечания: 75

Инагава-кай — третья по численности группировка якудза, базируется в регионе Канто.

— Ты торговец, но ты еще и эстет, — сказал ему Кейсукэ, — и это спасает тебя от присущей торговцам вульгарности, как дзен-экстазы Бет спасают ее от ее собственной.

— Моей вульгарности? — повторил Хару, подумав о своем старом учителе Дзиро.

— Но за наслаждением стоит одиночество, — продолжал Кейсукэ. — Ты всегда грезил об иных берегах, ни разу там не побывав, тебя привлекали иностранки, в искусстве ты увидел другой вариант места, где можешь залечить тайные раны. Одиночество толкает тебя на бегство, но твои шрамы держат на земле. Однако я чувствую в тебе момент искупления, только не могу понять, в чем он заключается.

* * *

Клара умерла двадцатого мая во Втором госпитале Красного Креста. Ей было тридцать четыре года. Во время похорон Поль едва стоял на ногах, и Хару подумал, что это самый печальный погребальный обряд, на котором он когда-либо присутствовал. В день захоронения урны на кладбище стояла прекрасная погода. В адском пекле кричали вороны, их карканье разносилось над аллеями, теплый ветерок ласкал лица, могилы

вибрировали от невидимой жизни мертвецов. Кейсукэ выстоял неподвижно всю церемонию, трезвый как стеклышко, с бесконечной нежностью в глазах. Вечером он ушел в город напиться, а Хару вместе с Бет отправились в Камигамо. Когда они зашли в дом, Поль кормил Анну, и круги у него под глазами и сами эти глаза вновь разбили им сердце. Бет заговорила по-японски, и малышка захохотала, пытаясь выговорить *дайдзёбу*, родители Клары и Поля, которые остановились в соседнем отеле, присоединились к ним, а Лора, остававшаяся в доме с девочкой, пока остальные были на церемонии, подала ужин, который Сайоко прислала с Канто. Вначале они переговаривались между собой по-английски, потом, поняв, что на английском прекрасно говорит Бет, перешли на французский. На своем родном языке Поль казался совершенно иным человеком, и Хару чувствовал, насколько тягостно для него присутствие родителей и свекра со свекровью.

— Лора — истинный дар небес, — сказал как-то Поль, — но я опасаюсь прибытия святого семейства, каким бы благодетельным оно ни было для Анны.

И добавил, что Клара думала, будто Уильям умер, так как не смог принять свою японскую

ипостась, и что она хотела, чтобы Анна знала о своем бельгийском родстве. Хару подумал о своих дальних предках, посмотрел на ведущую беседу Бет и спросил себя, насколько сильна грызущая ее сейчас боль. Сидевший по его правую руку отец Поля напоминал затаившегося хищного зверя — несгибаемый, суровый, с холодным взглядом и властными жестами. К концу трапезы он что-то сказал, и повисла тишина. Поль встал, остальные за ним, Хару и Бет распрощались и вместе ушли в ночь.

— Я уезжаю, — сказала Бет, перед тем как они расстались. — Я уезжаю завтра в Лондон.

И издала тот короткий болезненный смешок, который он слышал от нее только в самые тяжелые часы.

В полночь Поль постучал в дверь дома на Камо.

— Планида твоя такая — принимать друзей в трауре, — сказал он.

На него было страшно смотреть.

— Я тоже в трауре, — ответил Хару, и они направились в кабинет.

— Я думал утешиться мыслью, что она больше не страдает, — сказал Поль, — и эта мысль по-прежнему во мне, реальная и спасительная. Но

она не утешает.

Какое-то время они пили и молчали, прежде чем снова заговорить обо всем — о Кларе, об Анне, о любви и, без всякого перехода и умолчания, о смерти.

— Что такого сказал твой отец, что вы все снялись с места? — под конец спросил Хару.

— Мой отец обожает судить, вместо того чтобы понимать, — ответил Поль. — Он из тех, кто любит, чтобы последнее слово всегда было за ним.

В окно ворвался порыв холодного ветра, Поль вздрогнул.

— Но последнее слово всегда только за смертью, — проговорил он.

После его ухода Хару побродил по большой комнате, выкурил несколько сигарет, но когда собрался идти спать, увидел на низком столике перед клеткой с кленом каллиграфию, сделанную рукой Кейсукэ, с единственной стихотворной строчкой.

Лишь в вышине царит роса

* * *

Потом, хотя все было кончено, все продолжилось.

Именно в это время в жизни Хару возникла японка, чьим любовником он был в начале девяностых годов. Она вернулась после еще одного десятилетия, проведенного за границей рядом с мужем-дипломатом, и Хару снова увидел ее на официальном приеме в салоне отеля «Окура».

— Отныне я остаюсь в Японии, — сказала она. — Сёхэй некоторое время поработает в бюро в Токио, а потом снова уедет за границу, но уже без меня.

— Что ты будешь делать в Токио? — спросил он.

Она улыбнулась и не ответила. Ей недавно исполнилось пятьдесят лет. Он нашел ее красивой и переменившейся. На следующее утро они отправились в Сисэн-до, уселись на татами на галерее храма, и она прикоснулась к его руке.

— Мне хотелось бы однажды привести сюда Мидори, — сказала она, и Хару вспомнил, что она обожала свою единственную дочь.

Лепестки больших азалий, проглядывавшие сквозь нежную весеннюю зелень, казались шлейфом розовых звезд. На светлом мельчайшем песке располагались камень, папоротники, хосты, нандины, чаша для птиц. На заднем плане изгибалась томная линия хрупких кленов. На

следующий день Хару заговорил об этом визите с Полем, но в последний момент, сам не зная почему, воздержался от упоминания о Мидори.

— Сисэн-до? Мой любимый в это время года, — заметил молодой человек.

Он откинулся на спинку стула.

— Мы идем по крыше ада, глядя на цветы, — добавил он.

С естественностью и безмятежностью, удивившими Хару, Эми снова стала его любовницей. Они встречались в Киото и в Токио, занимались любовью, разговаривали, смеялись, ходили ужинать. Ненасытность и напряжение их первой связи уступили место нежному лукавому сообщничеству, и мало-помалу Хару перестал видеться с прежними привычными любовницами. Под вихрящимся мелким снегопадом он отпраздновал в доме на Камо свой шестьдесят третий день рождения, Эми занимала почетное место, и он, забавляясь, отметил, что в лице Сайоко и Кейсукэ она обрела молчаливый комитет поддержки — а потому, хоть он никогда не обсуждал с Сайоко свою личную жизнь, на следующий день он будто ненароком обмолвился при ней, что Эми замужем. «Как и мы все», — пожала плечами та, и он невольно рассмеялся, увидев, как она ничтоже

сумняшеся отреклась от принципов, за которые обычно была готова взойти на костер. Но ему пришлось признать, что та жизнь, которую он вел последние сорок лет, без предупреждения, но и без болезненных потрясений совершила поворот. Он продолжал встречаться с друзьями, пить, заключать сделки и развлекаться, но сам настрой переменился. Однажды после полудня он впервые взял Эми с собой на круговую прогулку по храмам и кладбищам. Они были одни, она шла рядом, нежная, элегантная и серьезная. Они остановились на верху большой лестницы в тишине заснеженного города, в великом покое храмовых построек и могил. Он взглянул на нее, она легко вздохнула, сдерживая слезу, с блестящими глазами повернулась к нему. Он восхитился ее красотой и изяществом, потом его мысли приняли другой оборот, и он сказал себе: «Томоо стал формой, наделившей мой холм своим духом. Я вступил в пору траура, и отныне мои мертвецы вдыхают в эти здания и могилы благоухание своих откровений и душевных озарений». Он остановился в храмовом дворе и вновь увидел себя десятого января 1970 года, когда под снегом перед ним шли Томоо и Кейсукэ, а он чувствовал, что замерзает и рождается заново. «Но Кейсукэ и

Поль живы-здоровы, — сказал себе он, — и Роза тоже». Вдали прозвучал гонг, и он вновь осознал, что Эми рядом.

Вечером они ужинали в Гионе[76], в старинном заведении, где Хару хорошо знали. За едой Эми рассказывала ему о годах, проведенных за границей, потом о любовном романе, который сейчас читает, и, слушая ее, он, как в театре, представлял себе, чем была бы его жизнь, женись он в свое время на японке. В тот момент, когда он подумал, что никогда не подпускал свои плотские желания слишком близко к собственной внутренней сущности, Эми, продолжая описывать сюжет романа — историю женатого мужчины и замужней женщины, которые в конце концов вместе кончают с собой, — сказала ему:

— Мои европейские друзья полагают, что у японцев культ невозможной любви.

Остаток вечера прошел в мягкой, обволакивающей атмосфере, и у него возникло ощущение, что он мечтатель, путешествующий по знакомой и странной стране. В ледяной ночи они дошли до винного бара, где обнаружили откровенно пьяного Кейсукэ, который принялся о чем-то

---

[76] Примечания: 76

Гион — средневековый район Киото напротив святилища Ясакадзиндзя.

болтать с Эми. Хару рассеянно их слушал, но вскоре, с ласковой улыбкой на губах, перестал обращать внимание на их треп. Думая о Розе, он пригубил французское каберне и сказал себе: «Я тут скучаю, чтобы доставить удовольствие Эми, точно так же, как если бы отправился с дочерью на детский полдник».

* * *

Утром девятнадцатого января 2013 года, накануне его шестьдесят четвертого дня рождения, Сайоко внезапно остановилась перед окнами, выходящими на Камо.

— На что вы смотрите? — спросил он, и она ответила недоуменно и рассеянно:

— На реку.

Около семи вечера ему позвонил Кейсукэ и предложил встретиться в городе вместе с Полем, но Хару собирался провести вечер с Эми и отказался. Он присоединился к ней в суши-ресторане на последнем этаже здания, где они встретили вернувшуюся из Англии Бет, которая ужинала с деловыми партнерами, и некоторое время с ней поболтали, стоя рядом с их столиком. Позже Эми сказала Хару: «Она просто супер — посмотри, с каким уважением остальные к ней относятся,

хотя она и женщина, и иностранка», и на него повеяло ностальгией по ушедшему времени, когда они с Бет были любовниками. Ужин прошел в наслаждении прекрасным видом восточных гор, они вернулись пешком по берегу Камо, было тепло, дикие травы изгибались под луной, как серебряные луки. Дома они приняли ванну и легли спать, болтая и смеясь, но любовью заниматься не стали. Он посмотрел на обнаженную спину Эми и мирно заснул.

В шесть утра его телефон зазвонил, и он услышал голос Кейсукэ, говоривший:

— Приезжай в Красный Крест, с нами все более-менее в порядке, но приезжай.

В больнице он нашел горшечника в коридоре, всклокоченного, в больничной пижаме.

— Я не ранен, — сказал тот, — просто я был весь мокрый.

И он начал рассказывать. Они выпили лишнего — Хару прекрасно представлял, что это могло значить, — а дальше, сами не зная как, оказались на мосту Сандзё, убеждая друг друга, что должны прыгнуть. Они перелезли через парапет, Поль приземлился на выступ пилона, а Кейсукэ благополучно прыгнул и погрузился в холодную воду; им немедленно пришли на помощь. Полю

в срочном порядке прооперировали бедро, все прошло хорошо…

— Ну, так обычно говорится, — вздохнул Кейсукэ. — Какой же я болван. Я ведь знаю, что не могу умереть, я должен был его оберегать.

— Где Анна? — спросил Хару.

— С няней, — ответил гончар. — Я ее уже предупредил, она с ума сходила от беспокойства.

Хару позвонил Сайоко, вкратце изложил ситуацию («А! — сказала она. — Река!») и велел ей идти к Полю.

— Я привезу ее к нам в дом, — ответила она.

И в следующие дни Анна проводила день у Хару, а вечером ее забирала к себе Сайоко.

Поль медленно поправлялся.

— Я буду хромать до конца своих дней, — сказал он Хару, — но хромота пустяк. Правда в том, что я подвел Анну и никогда себе этого не прощу.

Он себя простил. Вернулся к работе, не забыл дорогу в бары, проявляя должную умеренность, и Хару радовался, глядя, как Поль выстраивает с дочерью нежную и радостную связь. У Поля случались любовные истории, потому что он понял, что никогда уже не будет тем же, кем был с Кларой, и что ни один человек не в силах вынести отсутствия мертвых. Хару, понимая, что

работа помогает Полю держаться, нагружал его множеством поручений, тем более что японцы прекрасно к нему относились. На бесконечных деловых ужинах он пил, не давая слабины, говорил мало, смеялся и смешил в нужный момент, заключал сделки, иногда с большей выгодой, чем сумел бы сам Хару. Когда тот над этим подшучивал, Поль улыбался и говорил:

— Дух капитализма родился из протестантской этики; я считал себя просто любителем искусства, но я всего лишь продукт своей культуры.

Но на самом деле улыбался он редко, и Хару переживал за него. Анна, которой исполнилось четыре годика, с каждым днем все больше походила на мать и, несмотря на образовавшуюся пустоту и печаль, казалась неизменно веселой и шаловливой, в силу чего Сайоко была убеждена, что девочка находится под защитой священного леса Тадасу. Когда Поль продал дом и переехал в квартиру в центре города, Сайоко всполошилась и снова на протяжении нескольких месяцев внимательно приглядывалась к малышке. Но Анна гармонично развивалась, и Поль черпал в этом силы.

Хару отпраздновал свои шестьдесят пять лет, и само празднество, организованное совместны-

ми усилиями Сайоко и Эми, получилось очень красивым. Шел снег, фонарь в стеклянной клетке прикрыл макушку белоснежными вороньими крыльями, и Кейсукэ произнес забавную речь, дышащую камелиями, дружбой и саке, которая заканчивалась так:

— Люди с гор — полные придурки.

Все засмеялись и плавно двинулись к чудесной весне, потом к раннему и на редкость холодному муссону. Тогда-то Хару и простудился. Когда вечером двадцать девятого июня он сидел дома, попивая горячий чай и пытаясь читать, несмотря на отвратительный кашель, раздирающий грудь, ему позвонил новый частный детектив. Предыдущий вышел на пенсию десять лет назад, а его преемник, как и первый, говоривший по-английски, извинился за неожиданный звонок и сообщил, что Мод Ардан накануне покончила с собой.

Она набила карманы камнями и утопилась во Вьенне. Хару велел прислать отчет о событиях, и фотографии прибыли на его электронную почту. На них была одетая в черное Паула, принимающая посетителей у входа на веранду. На одном снимке появилась Роза, выходящая из квартиры на улице Деламбр. Ее замкнутое жесткое лицо на-

помнило Хару лицо Мод. Прощание состоялось в церкви соседнего городка, усопшая упокоилась в земле того же кладбища, что и ее отец, в деревне, в десяти минутах от дома. Фотографу не удалось подойти ближе, снимки получились расплывчатыми, лица оставались почти неразличимыми, но Хару показалось, что на присутствующих белые маски, и, словно в театре но его детства, они казались частью мира призраков.

— Что будешь делать? — спросил на следующий день Поль.

Хару закашлялся и прикурил сигарету.

— Свяжусь с ней, но еще не знаю как.

— А ведь «как» — это исключительно японская постановка вопроса, — заметил Поль. — Я не знаю другого народа, который с таким изяществом оставлял бы в стороне вопрос «зачем».

— Она жила без отца и почти без матери, — сказал Хару. — Я не могу как ни в чем не бывало заявиться в ее жизнь.

Он снова закашлялся.

— Нужно обратиться к врачу, — сказал Поль. — Этот бронхит затянулся.

— Я как раз сегодня иду, — ответил Хару. — Записался на четыре часа.

До своего врача он дошел пешком по берегу

Камо, свернув налево на мост Демати и поднявшись чуть дальше по Кавабата-дори. Накрапывал дождь, он чувствовал себя усталым и невообразимым образом счастливым — это чувство, горячее и глубокое, взрывало в нем залежи самых разнообразных эмоций. Во Франции, монотонно повторяясь, сменялись года, его дочь чахла, прекрасная и угрюмая, сменившая гнев на безразличие и, насколько он мог судить, смирившаяся. В ее жизни почти ничего не происходило, она почти не встречалась с друзьями, почти не заводила больше любовников, работала, возвращалась к себе, и каждый раз, получая отчет и фотографии, Хару вынужден был склониться перед очевидностью: ее затягивает та же тьма, что и ее мать. «Однако Роза вскоре узнает свою японскую душу», — говорил себе он, любуясь цаплями, растворявшимися в серых тонах муссона. Дикие травы по обеим сторонам русла, зеленые и напитанные дождем, стелились под свежим ветром. Прямо перед ним темной таинственной массой высились восточные горы. Вокруг него, волшебно сочетая современное уродство и благость святилищ, покоился в своих грезах Киото, проникая в душу как никогда, и Хару улыбнулся, подумав: «Я стал еще большим японцем, стре-

мясь, чтобы японкой стала моя дочь».

Сигэнори Мидзубаяси, с которым его связывала тридцатилетняя дружба, выслушивал его своим фонендоскопом, болтая о том о сем, но с какого-то момента замолчал.

— Ты в последнее время не терял резко вес? — спросил он.

Хару не имел никакого представления.

— Я выпишу направление на обследования, — сказал Сигэнори. — Ты же застарелый курильщик, осторожность не помешает.

— У меня нет времени болеть, — со смехом возразил Хару.

Он прошел предписанные обследования и выбросил все из головы, целиком поглощенный Стратегией Розы. Под предлогом бронхита он отклонил предложение Эми провести несколько дней вместе и долго предавался размышлениям у себя в кабинете, передоверив все дела Полю. Двадцатого июля Сигэнори позвонил ему и сказал:

— Я получил результаты обследования, можешь прийти сегодня после полудня?

Хару глянул на Сайоко, которая расставляла ветви лилий в большой белой вазе, и, увидев, что та сосредоточена и безмятежна, не забеспокоился. Он снова прошелся пешком до кабинета

на Кавабате, немного подождал, раздумывая над первыми словами, которые напишет дочери, потом Сигэнори пригласил его зайти в смотровую, и в то же мгновение Хару понял, что дело серьезно.

— Скажи мне все напрямую, — попросил он.

— Нужно сделать биопсию и еще другие анализы, чтобы выяснить все подробнее, но одно точно: у тебя рак.

— Легкого? — спросил Хару.

— Затронуты оба легких.

— Сейчас? — сказал Хару.

Врач непонимающе на него глянул.

— Это должно было случиться сейчас? — сказал торговец и засмеялся тем коротким сухим смешком, который слышал от других, подумав: «Такова судьба». — Насколько это опасно? — спросил он еще.

— Мы будем знать больше после магнитного резонанса и биопсии, — ответил Сигэнори. — Не считай это известие приговором, куча народа живет долго с подобным диагнозом.

Хару вернулся домой, попросил Сайоко выпить с ним вместе чаю и сообщил ей новость. Она давным-давно взяла на себя заботы о его доме и расписании, была посвящена в его тайну

— более, чем кто-либо, она заслуживала полной откровенности. К тому же ему было любопытно узнать, почему эта великая пророчица трагедий не почуяла то, что случилось с ним, и утешался тайной мыслью, что это, возможно, вселяет надежду. Когда он все рассказал, у нее вырвался удивленный вскрик.

— Этого не может быть, — сказала она, и он подумал, что она отрицает реальность его болезни.

Но он ошибся, потому что, предвосхищая вопрос, она добавила:

— Дома я всегда слепа.

— Дома? — повторил он.

— Ну, здесь, — уточнила она, обводя рукой залитую светом комнату.

Он послушно прошел новую череду обследований и в августе снова встретился с Сигэнори.

— Твой рак не самый агрессивный, но и не самый приятный, — сказал врач, — однако на сегодняшний день имеются отличные способы лечения, и я тебя отправлю к лучшему онкологу Киото.

— Сколько у меня времени? — спросил Хару.

— Никто не может сказать.

— Сколько? — повторил Хару.

— Пять лет, может, десять, — ответил Сигэно-

ри. — Но не подавай на меня в суд, если мы тебя дотянем до твоего девяностолетия.

Выйдя из кабинета, Хару позвонил Полю и предложил увидеться в «Кицунэ».

— Сайоко посидит с Анной, — сказал он, — а для меня очень важно поужинать с тобой.

Поль пришел вовремя, сел, подождал, пока Хару закажет пиво, и попросил:

— Скажи мне все напрямую.

После того как Хару все объяснил, Поль откинулся на стуле и произнес только:

— Я рядом.

— Тебе придется вести все дела, — сказал Хару. — Никто не любит больных торговцев, а в Японии вообще не любят больных. Ты станешь лицом фирмы, когда мне будет уже не под силу.

— Кому еще ты сообщишь?

— Кейсукэ, Бет, Эми, а когда это станет очевидным — всем.

Подошел шеф-повар и предложил по рюмочке сётю[77] от заведения, Хару засмеялся и спросил у Поля, неужели у них настолько похоронный вид.

— Конечно, — заверил его молодой человек и улыбнулся.

---

[77] Примечания: 77

Сётю — крепкое спиртное из риса, ржи и сладкого картофеля, еще крепче саке.

Они пили свое сётю из высоких стаканов, с большим количеством льда.

— Мой отец умер во сне, без всяких мучений, — сказал Хару, — и я себя почти убедил, что и со мной будет так же.

Упоминание об отце всколыхнуло другие воспоминания.

— Когда-то я знал одного мастера чая с гор недалеко от Такаямы. Его звали Дзиро Мифунэ, у него был магазинчик древностей в городе, и там в грудах всякого барахла можно было найти настоящие сокровища. Он священнодействовал в своей лачуге между ящиками с пивом и кипами старых журналов, но никогда зов чая я не различал так отчетливо, как у него.

Он поднял стакан за невидимого друга.

— Дзиро говорил, что человек, который думает, будто знает себя, опасен. Но на самом деле он следовал пути чая и знал, кто он. Я сделаю из маленькой гостиной с северной стороны чайную комнату, мне необходимо видеть, у меня больше нет времени на предположения.

Поль поднял свой стакан.

— А Роза? — спросил он.

Хару наклонил голову:

— Я еще не знаю.

* * *

Курсы лечения, обследования, и так неделя за неделей, месяц за месяцем — это было мучительно. В августе 2014 года Хару отложил решение относительно Розы, как и все прочие важные решения. В августе 2015-го, пока новости с онкологического фронта оставались туманными, он отправился вместе с Канто прямо на открытие фестиваля такиги-но. Было тепло, немного облачно, и он поймал себя на том, что ему нравится представление на открытом воздухе, напомнившее спектакли из детства. Когда зажглись факелы, освещенные сцена и святилище проступили на фоне сгущающихся сумерек, и его поразила та насыщенность, которую реальная ночь придавала пьесе. Под восходящей луной представление позволило ему увидеть мир таким, каким он никогда еще его не видел, и, чувствуя, что проникает в тайные области, он заснул, как забываются в объятии надежных рук. В момент, когда он проснулся, на главном герое была маска старика, безусловно вылепленная большим художником, потому что ни на одной другой Хару никогда не видел столь мощного выражения страдания. «А может, я стал чувствительнее?» — подумал он, с

ужасом поняв, что перед ним изможденное лицо самой смерти, в то время как актер нараспев произнес:

— Я пришел лишь затем, чтобы поведать вам о своих муках.

На следующее утро, после беспокойных снов, где он тонул или пытался скрыться от призраков и демонов, Хару предпринял необходимые шаги, организовав все сам и ничего никому не сказав. В ночи, освещенной искусством и огнем, он увидел истину. Теперь он без всяких медиков знал, что ему осталось мало светлых месяцев. Спустя три недели он предупредил Поля и Сайоко, что отбывает на несколько дней в Такаяму, и попросил Канто заехать за ним завтра на рассвете. На заре нового дня он велел отвезти его в международный аэропорт Кансай и в дальнейшем не говорить никому ни слова. Он смотрел, как мелькают городские улицы, потом, вдоль автострады, пригороды на южной равнине и жуткие городские кварталы Осаки. В конце долгого путешествия машина въехала на большой мост, связывавший аэропорт с побережьем, и его позабавил дорожный щит на английском и на катакане[78], как

[78] Примечания: 78

Катакана — одна из двух (наряду с хираганой) графических форм каны, японской слоговой азбуки.

и та слоговая азбука, которой воспользовались, чтобы воспроизвести иностранные слова, гласившие: Sky Gate Bridge R[79]. Он обвел взглядом обширную бухту Осаки с ее промышленными зданиями, рыболовными и круизными судами, унылыми бетонными конструкциями и подумал, что нет ничего более японского, чем этот морской пейзаж, изуродованный современностью.

Канто проводил его до стойки регистрации и к выходу на посадку, где поклонился, прежде чем удалиться, словно привез его к дантисту. Пройдя таможенный контроль, Хару проследовал в вип-зал, где занял кресло у окна, выходящего на взлетные полосы и на море. Один самолет взлетел, другой приземлился, Хару встал, чтобы взять кофе, и снова уселся в кресло. До вылета оставалось два часа, он открыл газету, отложил ее, рейсы продолжали прибывать и отправляться, море волновалось под нарастающим ветром. Он заметил, что в зависимости от фазы взлета или приближения к земле самолеты казались то тяжелыми, то легкими, то неповоротливыми, то устремленными к цели, и в какой-то момент траектория маленького самолета напомнила ему

[79] Примечания: 79
Мост Небесные Ворота *(англ.)*.

цапель с родной реки и, по ассоциации, поток его детства. Он вспомнил, как увидел там два противоположных берега своей жизни и посреди быстрых вод загадочную и воздушную свою дочь. «Вот где я сейчас пребываю, — подумал он, — совсем близко к плавящемуся сердцу тайны, там, где я смогу наконец воссоединиться с Розой». Танец самолетов продолжился, он выпил еще две чашки кофе, пожевал сэмбеи, повторил про себя название отеля, который выбрал в Париже. Море поднималось под чернильными тучами, он испугался зарождающейся бури, но высвечивавшиеся на табло рейсы вылетали вовремя, и он расслабился не без помощи бокала вина. Наконец он покинул салон, бухту, море и лаково поблескивающие под темным небом взлетные полосы.

Во время полета он так и не смог заснуть. Кофе, долгий переезд, непредвиденность путешествия — всё не давало ему забыться. В слабо освещенном салоне самолета, сидя с открытыми глазами, он представлял себе ту минуту, когда окажется в одном пространстве с Розой и увидит ее, находясь рядом, окруженный тем же воздухом, включенный в ту же ткань бытия. К моменту приземления после двенадцати часов этого странного бодрствования он был совершенно измучен.

На выходе, держа табличку с именем Хару, его ждал нанятый Манабу Умэбаяси японец, который сопроводил его к машине, где Хару почти мгновенно заснул. Когда проснулся, они были уже в Париже, миновал полдень, шел дождь. Отель выглядел чистеньким, обслуживание — средним, номер — удобным. Он принял душ, растянулся на кровати и пришел в себя уже глубокой ночью. Сунул в карман телефон, который вручил ему человек Манабу, и вышел из гостиницы.

Дождь прекратился, и он двинулся наудачу, ориентируясь по башне Монпарнаса. Город показался ему грязным и дурно пахнущим, он долго шагал по заснувшим улицам, но на Париж ему было плевать, он думал только о ней. Вскоре он проголодался. Занимался день, и, выйдя на один из больших бульваров, Хару увидел знакомое кафе. На фотографиях он не раз разглядывал эти столы, плетеные бело-зеленые стулья, видневшуюся в окнах деревянную стойку, официантов в белых рубашках, галстуках и черных жилетах. Он уселся на террасе и заказал завтрак.

* * *

После тридцати лет разглядывания фотографий Париж казался знакомым, но снимки не переда-

вали ни запахов, ни света, а главное — манеры людей двигаться. А больше, чем экзотичность обстановки, лиц и языка, именно движение прохожих рождало ощущение неодолимой чужеродности. Все встречи с французами в Киото, все близкое общение с европейцами не подготовили его к восприятию этой толпы с ее специфическими жестами, и, окунувшись в волны совершенно другого мира, он почувствовал себя отделенным от реальности. Где-то через час усталость взяла верх, ему показалось ребячеством ждать в кафе чудесного появления, и он уже собрался вернуться в отель, чтобы там организовать завтрашнее утро. Мелькнула мысль отправиться к исследовательскому институту к тому времени, когда Роза должна появиться на работе, — он заметит ее, и первое впечатление продиктует следующие решения.

Он увидел, как она идет прямо к нему. Она пересекала бульвар, и он понял, что она направляется к его террасе. На ней было очень простое зеленое платье и сандалии на плоской подошве, распущенные волосы свободно обрамляли лицо. Она незряче посмотрела на него и села за соседний столик. Подошел официант, она заказала кофе, и звук ее голоса, в котором он узнал тембр собствен-

ной матери — отголосок родных гор, — потряс его. До нее было меньше метра, и, поскольку она не обращала на него никакого внимания, Хару мог разглядывать ее сколько душе угодно. В ней чувствовалась энергия, которую фотографии не могли передать. Это напомнило ему хрупкое упорство цветов. «Сколько мужчин полюбили ее за это? Столкнулись ли они с ее гневом и безразличием?» — спросил он себя. Взяв чашку, она уронила ложечку, он поднял и протянул ей. Она поблагодарила, он произнес «You're welcome»[80], она взглянула на него.

— Вы японец? — поколебавшись, спросила она в конце концов.

— Да, — сказал он. — Вы бывали в Японии?

— Благодарю покорно, — ответила она, — что-то меня туда не тянет.

Он улыбнулся:

— Знаете, у нас много красивых вещей.

— Красивых вещей? — повторила она.

— Вещи — всего лишь вещи, — сказал он, — но все же.

Она попросила официанта принести еще кофе.

— Какие красивые вещи? — спросила она.

---

[80] Примечания: 80
Не стоит благодарности *(англ.)*.

— У нас есть небеса, — сказал он.

— Небеса?

— Небеса, за которыми вянет сад и иногда появляются лисицы.

Она внимательно посмотрела на него.

— У вас здесь, наверно, друзья? — спросила она.

Он различил в ее голосе легкое напряжение. И подумал: «Это происходит сейчас». Что-то пришло в действие, возникла некая брешь в сплетении нитей бытия, и в его распоряжении оказалась вся бесконечность времени, чтобы погрузиться внутрь себя, прежде чем ответить. Странная оторопь напала на него там, где он находился, и унесла *вовне*, под деревья Кокэдэра. Он блуждал под сенью листвы и восхищенно поражался способности деревьев порождать жизнь, несмотря на крепко держащие корни. Он слышал их пение и понимал мощь неподвижных преображений. На какое-то мгновение он забылся под кронами памяти, завороженно любуясь мхами и туманами, отдаваясь магическому излучению земли. Истина струилась в мерцающих отблесках подлеска, где чередой проходили годы, волны одиночества и беспомощности. Вскоре он станет обузой для близких, и, убаюканный речитати-

вом листьев, он подумал: «Ничто не происходит случайно». Она смотрела на него, он любил ее с безумной силой и единым махом вырвал себе сердце.

— Нет, — сказал он, — я никого не знаю во Франции.

Она снова посмотрела на него и пожала плечами.

— Конечно, — сказала она.

Он подумал о Бет, которую Нандзэн-дзи превращал в другую женщину, подумал о том, что его всегда тянуло куда-то *вовне*, но здесь он был всего лишь иностранцем, и наконец подумал, что любить — это значит дарить свет. Он заговорил с ней по-японски. Сказал, что она мощный цветок, что он верит в ее силу и решимость, добавил, что надеется: однажды дух откроет ей свое сердце. Она недоуменно прищурилась, подозвала официанта, расплатилась за кофе, встала.

— Желаю вам приятно провести время, — сказала она.

Он проводил ее взглядом до ближайшего входа в метро, попросил счет и вернулся в отель, следуя маршруту, проложенному в смартфоне. Лег на кровать. Он ждал дикой пронзающей боли, которая оставит его опустошенным и обугленным,

очищенным от всех эмоций. Он не почувствовал ничего.

Он позвонил в авиакомпанию и тому человеку, которого приставил к нему Манабу Умэбаяси, пообедал, а потом поужинал у себя в номере, никуда не выходя. На рассвете следующего дня шофер ждал его у входа в отель. На этот раз он хотел прожить каждое биение сердца, отделявшее его от вылета, и не спал всю дорогу до аэропорта. Зарегистрировал багаж, пошел в Вип-зал, выпил там вина и кофе. Сев на свое место в самолете, он снова приготовился к волне печали, но вместо этого ощутил головокружительное облегчение и необъяснимое опьянение. Самолет пробил тучи, солнце залило кабину, и он вспомнил роман, о котором рассказывала Эми, — о невозможной любви, которая, как и дружба, остается частью любви.

* * *

Вернувшись в дом на Камо, он воскресил вырванное сердце отца, претворив его в сердце умирающего человека, и сообщил живущим, что отныне его место в переходном царстве, где они не могут к нему присоединиться. Первой, кто получил известие об этом безвозвратном пересе-

лении, стала Эми.

— Я могла бы дать тебе все, но ты этого не хочешь, — сказала она.

Он ласково на нее посмотрел:

— Я провел с тобой счастливые годы, но я одиночка и не могу ни с кем разделить свою болезнь.

— Одиночка? — повторила она.

У нее вырвался горький смешок.

— Человек, который думает, будто знает себя, опасен, — сказала она и, крепко обняв его, ушла.

Вечером он отправился в бар повидаться с Кейсукэ, рассказал о словах Эми и добавил:

— Знаю, что ты меня осудишь, я и сам готов это сделать.

— Что такое человек? — в ответ спросил горшечник.

— Ты сейчас мне скажешь.

— Это прежде всего одиночество.

— Именно, — сказал Хару.

— А потом падение и рождение. Ты думаешь, что сможешь родиться в одиночку?

— Мне кажется, что я, напротив, умру.

— Ты не понимаешь? Ты, сколько бы ни грезил о мире *вовне*, остаешься до мозга костей японцем; мы думаем, что все в наших руках, и все от нас

ускользает. Твоя одержимость формой — это одержимость контролем. Но в самой сердцевине каждого кроется та бездна, где все мы слепы, если только не смиримся и не позволим другому показать нам, кто мы, вместо того чтобы смотреть самим.

— Я не могу требовать этого от Эми, — сказал Хару.

— А! — сказал Кейсукэ. — Ты еще думаешь, что у тебя есть выбор! Но любому человеческому существу требуется кто-то другой, чтобы сопровождать его в падении и в рождении.

Позже, в доверительном тепле дружбы, когда саке смягчило угрозы, Кейсукэ разразился смехом.

— Какой же ты дурак и самурай… — сказал он.

Вторым, кого он ввел в курс дела, стал Поль. Хару ни словом не упомянул о Париже, сказал только, что отказался от мысли познакомиться с дочерью.

— Но отец есть отец, будь он здоров или болен, — возразил Поль, когда Хару закончил.

— Отсутствовавший отец, ставший больным отцом, — сказал торговец.

— Тебя ждут еще годы, и ты отказываешься от самой важной встречи?

— Меня ждут болезнь, угасание, смерть. — Хару засмеялся. — Как же мы все обманываемся, пока не ощутим нож, приставленный к горлу, верно? То, что отец должен дать дочери, — это свет, который позволит ей увидеть саму себя. Это то, чего Бет не сумела сделать для Уильяма. Я задолжал Розе ее японскую часть.

— И как ты собираешься проделать это на расстоянии? — поинтересовался Поль.

— Мне осталось несколько лет, чтобы придумать, — ответил Хару. — Как ни странно, это решение сделало смерть реальной, однако я чувствую себя пьяным и счастливым.

— Это упоение принесением дара, — сказал Поль. — Когда даешь, ничего не ожидая взамен, потому что понял истинный смысл дарения. Я завидую твоему опьянению.

Но сам Хару после нескольких часов в Париже знал, что этим ощущением он обязан отказу от встречи и парадоксальному чувству неколебимой близости, порожденному этим отказом. На смену медленной эрозии последних десятилетий, разъеденных уверенностью, что рано или поздно они узнают друг друга, пришло обещание единственного перерождения, имеющего смысл и озаренного теми минутами, когда он смог пого-

ворить со своей дочерью.

Лето и осень прошли в относительном затишье, рак прогрессировал медленно, без всплесков, но и без отступлений, Хару жил почти нормальной жизнью, но больше не курил, не пил и знал, что его вздохи сочтены. В январе 2016-го он отметил шестьдесят седьмой день рождения в доме на Камо, украшенном огромным букетом белых камелий. Матовая черная ваза с шероховатой поверхностью произвела большое впечатление, и Кейсукэ, чьим подарком она была, признал, что она удалась. Присутствовало много молодых художников, гордых приглашением, и они, необычные и дерзкие, как сам Хару в их возрасте, придали празднику веселья; среди них, как обычно, были и женщины. Хару находил женщин красивыми и блестящими, но больше не испытывал желания, счастливый одним их присутствием и очарованный их талантом. «Теперь я желаю только замкнутой близости, — думал он, глядя, как они живут и смеются, — высшей близости, с Розой, несмотря на смерть».

Между тем зима усыпала город камелиями и цветами сливы, а парижский детектив сообщил Хару о кончине Паулы. Ей было восемьдесят семь лет. Она угасла у себя дома, во сне, ничем

не болея, и Хару испытал такое облегчение при мысли о ней и такую печаль при мысли о дочери, что сам не понимал своих чувств, пока не пришли снимки похорон, кладбища и Розы в просторном черном дождевике, стоявшей, выпрямившись, под ливнем и одинокой, несмотря на толпу вокруг. Мартовским утром, разглядывая фотографии вместе с Полем, он вдруг осознал, что дождь кажется черным, и молодой человек, склонившись над снимком, вдруг нахмурился, потому что действительно все изображение казалось исчирканным тонкими темными штрихами.

— Кейсукэ мог бы тебе напомнить, что после взрыва бомб в Хиросиме и Нагасаки из-за воздействия жара выпал черный дождь, — сказал Хару. — Дождь, почерневший от радиоактивных пепла и пыли, который прибивал эти частицы к земле и уничтожал всякую надежду.

Как раз в тот вечер Кейсукэ пришел к нему поужинать, и Хару, нарушив собственный зарок, выпил несколько рюмок саке. Весь вечер они беседовали, вспоминая своих ушедших и заставляя жизнь переливаться тайными самоцветами. Под конец Кейсукэ спросил, висит ли до сих пор в спальне Хару та картина, которую он подарил ему в молодости.

— Ты хочешь еще раз на нее глянуть? — спросил Хару.

— Нет, но знаешь ли ты, что там изображена роза? — И, сам удивившись, добавил: — Не знаю, зачем я тебе это говорю.

Он взглянул на Хару.

— Но ты-то ведь знаешь, верно? — сказал он еще и ушел.

* * *

В начале 2019 года рак начал активно прогрессировать, лечение выматывало Хару, который уже не мог обходиться без кислорода. Его мучили боли в легких и в костях, он принимал минимально возможные дозы морфия — но все же принимал. Сайоко заправляла новой круговертью его жизни — медсестры, процедуры, больницы и возвращения домой, а в какой-то момент и специально оборудованная медицинская кровать, занявшая свое место напротив картины с розой. В этот день Хару позвал Кейсукэ и, как пятьдесят лет назад, подал ему чай в ходе церемонии, пусть и непринужденной, но все же торжественной. Он обустроил чайную комнату в маленькой гостиной, выходившей на север, и

поместил в токоному[81] свиток с изображением фиалок на льду. В остальном он действовал по образу и подобию своего старого учителя Дзиро и подавал чай, пренебрегая общепринятым порядком, беседуя и вместе с другом наслаждаясь столь чарующей бессмысленностью окружающего[82]. Разумеется, в какой-то момент они вернулись к своему излюбленному спору.

— Ты полагаешь, что все рождается из формы, но дело обстоит ровно наоборот, форма — всего лишь видимая часть духа и доступный восприятию образ его власти, — сказал Кейсукэ.

— В чем ты, сколько бы ни проклинал религию, больший буддист из нас двоих, — ответил Хару.

— Но кто из нас больший японец? — вопросил Кейсукэ.

В мае, месяце откровений, начал и концов, Хару приснилось, что он прогуливается с Розой по аллеям святилища Китано. Она была воплощением той женщины, которую он узнал в Париже и образ которой ему так и не смогли передать

---

[81] Примечания: 81

Токонома — альков или ниша в стене традиционного японского дома.

[82] Примечания: 82

Чарующая бессмысленность окружающего — цитата из «Книги чая» Окакуры Какудзо (1863–1913), японского писателя и художественного критика: «Будем мечтать о нирване и погрузимся в чарующую бессмысленность окружающего» (перев. Л. Здановича).

фотографии. Перед ирисом необычайной красоты он протянул ей руку и сказал: «Тебе будут грозить страдание, дар, неизвестность, любовь, поражение и преображение. Тогда, как этот цветок живет во мне, так и вся моя жизнь перейдет в тебя». Он проснулся с болью такой силы, предвидя которую несколько месяцев назад он решил, что она скрепит его последний выбор. Он принял ровно столько морфина, чтобы суметь встать, и позвонил Полю, который присоединился к нему, когда ушла утренняя медсестра. Они выпили чай перед клеткой с кленом, Хару объяснил, что очень скоро уже не сможет покидать постель, держаться в сознании или даже глотать, а следовательно, время пришло. Поскольку Поль молчал, Хару добавил, что хотел бы умереть у себя, в Синнё-до, что он обо всем уже договорился с Хироси и угаснет в маленьком саду, примыкающем к личным покоям монаха.

— Ты покончишь с собой в храме? — изумленно спросил Поль.

— Я там засну, — сказал он, — а вы с Кейсукэ перенесете меня сюда на заключительном этапе.

— Хироси в курсе? — спросил Поль.

— Конечно нет, — ответил Хару и добавил: — Но до этого я попрошу тебя перевести одно письмо

и записать маршрут. — Потом пояснил: — Это для Розы. Помнишь, что ты сказал мне в первый раз в Такаяме? Что вся глубина японской души целиком на поверхности и что наши сады суть ее воплощение, обретшее форму, так что ад становится красотой? Я долгое время думал, что печаль Розы исходит только от Мод, я не желал видеть того лика ада, который вылепил всех нас.

Он засмеялся.

— А теперь я хочу передать Розе ее японское наследство: снова печаль, но с указанием на противоядие. Восемь лет назад я интуитивно ощутил это в Кокэдэра, а сейчас знаю: все, что я должен дать моей дочери, сводится к одному письму и к одной, пусть долгой, прогулке. Когда она приедет сюда ознакомиться с моим завещанием, ты отведешь ее в несколько избранных мест. В конце ты посетишь вместе с ней нотариуса, потом отдашь мое письмо и его перевод на французский.

Поль ничего не сказал, но его молчание, Хару это знал, означало согласие.

— Я завещал ей все, чем владею, но фирма и хранилище отойдут тебе.

— И речи быть не может, — сказал Поль. — Я не твой сын и больше уже не просто твой служащий, я также и главным образом твой друг.

Хару кивнул.

— Когда? — спросил Поль.

— Двадцатого мая, через десять дней.

Так Хару погрузился в лимбы грядущей смерти. Дабы придать законченную форму делу своей жизни, он пригласил Кейсукэ выпить последний чай и там, в полутьме маленькой комнаты, поделился с другом своими планами.

— Тот, кто хочет умереть, живет, а тот, кто хочет жить, сам принимает смерть, — вздохнул Кейсукэ. — Я пробовал много раз, но кто может выстоять против судьбы? Она карает нас без разбора, одиночек и любовников, и никому не дано торговаться ни с самим собой, ни с любимыми. Что до меня, я лишь бедолага, который наблюдает и записывает историю до самого последнего слова.

— Историю? Но чью историю? — спросил Хару.

— Кто знает? Я узнаю, когда придет мой черед. Может, после тебя? Или после Поля? Надеюсь, что нет, я стар и желаю ему вновь полюбить и жить долго.

Хару разливал чай мягкими, замедленными движениями — и из-за болезни, и из-за воспоминаний, благословляемый тенью своего старого учителя, родными горами, своими потоками и

волшебными лисицами. Они пили в молчании, рассевшись без всяких церемоний, и тени спускались во множестве из его памяти и с ее склонов, и густота сумерек обволакивала его. Кейсукэ смотрел на него с улыбкой, и Хару напомнил ему историю лисицы из Какурэдзато, которая сорок лет назад шла по невидимому броду, а потом другую, про лисицу и даму эпохи Хэйан.

— Однажды, сорок лет назад, я рассказал эту историю одной француженке, — добавил он, — а позже Жаку Меллану. На обоих она произвела сильное впечатление, но я так и не понял почему.

Кейсукэ рассмеялся:

— Лисица говорит то, что хотят от нее услышать. В любой хорошей истории пересекаются три главных оси, по которым все мы, жалкие пылинки, перемещаемся, и каждый сдвигает свою жизнь в зависимости от собственных возможностей и ущербностей. Рождение, любовь, смерть. Первозданное повествование, начало и конец.

Он прикурил сигарету.

— Я помню ту француженку, — сказал он. — Для нее я бы продолжил историю так: «В той окруженной невидимостью жизни, где угасала в заточении дама, от взгляда лисенка начинали ко-

лебаться границы. Он предлагал зеркала, до того неведомые, и менял законы внутреннего преломления. Он заставлял тени кружиться в небывалой хореографии. В конечном счете он создавал для дамы другой мир, тоже невидимый, но в нем видимой становилась сама сердцевина ее жизни, и, назвав имена своих мертвых, он освобождал ее от их цепей. Он стал единственным другом, какой у нее когда-либо был, тем, кто мог смягчить ее утраты, рассеять мрак и приручить невидимое».

Он задумчиво глянул на Хару:

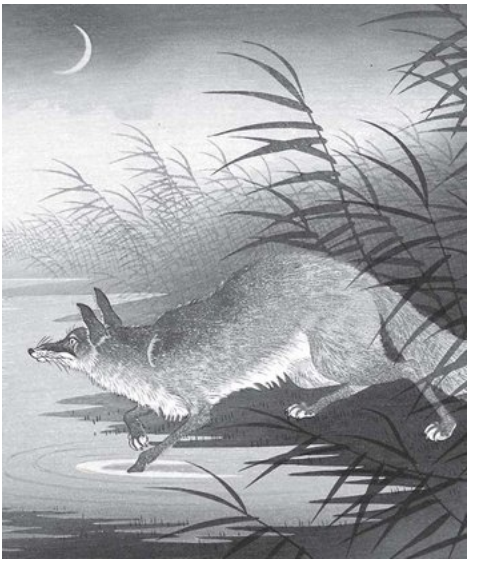
— Ты ведь знаешь, что она была сумасшедшей, верно? Сумасшедшей, безутешной или в плену, называй как хочешь. — Он потушил сигарету. — Но ты не говоришь мне всего.

Торговец улыбнулся.

— Ты все узнаешь, — сказал он.

Появилась Сайоко, день с его неизменной болью покатился к вечеру, и Хару не вспоминал об этом разговоре, но в тот момент, когда он добрался до кровати и привел в действие ее механизм, чтобы улечься, он спросил себя: «Если чай позволяет увидеть невидимое, то что вижу я?» Потом наступило смутное прозрение, и он сказал себе: «Лисица — вот ключ».

Родиться





В час смерти Хару Уэно думал: «Теперь я вижу,

теперь я в согласии с вещами». Он разглядывал черную чашу и принимал ее присутствие, чистую форму без формы, и через нее отныне понимал Кейсукэ. Он разглядывал ирис в себе, и в этом цветке, сросшемся с ним самим, растворялась боль.

Он думал: «Я нашел свою историю, ту, которая утешает и заговаривает страдание, я думал передать ее другим, но на самом деле рассказывал ее самому себе. Меллану лисица сказала: „Все, в чем не было озарения, исчезает, ничтожность и благодать равно бесконечны“. А мне она говорит: „Каждый человек идет к часу своего рождения, мы умираем в одиночестве и вновь рождаемся в свете. И в промежутке между этим концом и этим озарением мы совершаем истинное путешествие“».

Он думал: «Роза, все уже взвешено и разложено по местам, осталась только голая кость существования, и я знаю, что в моей жизни ничто не было мощнее и важнее, чем ты. Я — японский мужчина, которому выпало стать отцом французского ребенка, и в этой разнесенности вся глубина моей души, как и все мое сумрачное мерцающее наследие — наследие предков и разрывов, одиночества и внутренней жизни, меланхолии и радости».

Наконец, когда роса иного берега ложилась на сад Синнё-до, Хару Уэно подумал: «Мертвые превосходят живых, потому что больше не знают падений».

Благодарности и признательность
Еве Шане и Бертрану Пи,
Ришару Колассу, Хироко Ито, Коринне Кантен,
Сигэнори Сибате
и всегда — Жан-Батисту Дель Амо

* * *

Листва летит, как будто там вдали
за небесами вянет сад высокий;
в листве летящей жесты отрицанья.

И прочь летит от звездного мерцанья
в пустую ночь тяжелый шар земли.

Все, что восходит, снова упадет.
Во всех вещах воплощено паденье.

Но есть Один, кто в благосклонном бденье
рукою легкой держит наш полет.

Райнер Мария Рильке. Осень
(перевод Вячеслава Куприянова)

осень в горах —
столько звезд
столько далеких предков

Нодзава Сэцуко

There was a boy,
a very strange enchanted boy.
They say he wandered very far, very far,
over land and sea.
A little shy and sad of eye,

but very wise was he.
And then one day,
one magic day he passed my way
And while we spoke of many things,
fools and kings,
This he said to me:
«The greatest thing you'll ever learn
Is just to love and be loved in return».

eden ahbez. Nature Boy

Будем мечтать о нирване и погрузимся в чарующую бессмысленность окружающего.

Какудзо Окакура. Книга чая
(перевод Леонида Здановича)

История о монахе и его матери взята из книги: Мать преподобного Дзёдзина. Абсолютное несчастье.